Кукольник с Сенной



Егор Ралович

Егор Ралович

Кукольник с Сенной

«Автор»
2026

Ралович Е.

Кукольник с Сенной / Е. Ралович — «Автор», 2026

Осень тысяча восемьсот восемьдесят седьмого года. Судебный следователь Платон Стрешнев приезжает в губернский Ковыльск после дела, за которое до сих пор не может себе простить: по его ошибке осудили невиновного.
В первое же утро в часть приходит прачка с Сенной площади – пропала её дочь. Полиция отмахивается: на Сенной детей много и считают их плохо.В витрине кукольной лавки на углу Стрешнев видит куклу в платочке, и мать узнаёт в ней свою девочку. Старый кукольник Лаубе рисует детей Сенной с натуры и каждый год делает куклу своей утонувшей дочери «на год старше». Он молчалив, странен и кажется идеальным подозреваемым.Учительница воскресной школы Ксения Затеева знает: за осень пропали пятеро, и никто их не искал. Чем дальше идёт следствие, тем выше по городу ведут следы – от ночлежек и трактиров Нижнего города к благотворителям, попечителям и особнякам Дворянской улицы. А Стрешнев больше всего боится снова ошибиться.

© Ралович Е., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Туман над Сенной 5
Глава 2. Лавка кукольника 12
Глава 3. Воскресная школа 19
Глава 4. Ночлежка Хлудова 25
Глава 5. Вторая кукла 31
Глава 6. Требование полицмейстера 36
Глава 7. Обыск 42
Глава 8. Острог 48
Глава 9. Дом, где все спят 53
Глава 10. Пожарный осмотр 59
Конец ознакомительного фрагмента. 62

Егор Ралович
Кукольник с Сенной

Глава 1. Туман над Сенной

Туман пришёл с Сумы ещё до рассвета и к семи часам утра так плотно лёг на Нижний город, что фонарщик, гасивший последние керосиновые фонари у спуска, шёл от столба к столбу почти наощупь, как слепой от стены к стене. Платон Андреевич Стрешнев стоял у окна своей новой квартиры на Почтовой улице и смотрел, как исчезают в этом молоке крыши, трубы, верхушка пожарной каланчи, а потом и сама улица под окнами. Через четверть часа за стеклом не осталось ничего, кроме серого, и ему почудилось, будто дом оторвался от земли и плывёт куда-то вслепую.

Он не спал. В Петербурге он тоже почти не спал последний год, и доктор, к которому его однажды затащила сестра, сказал, что это нервы, и выписал бромистый натр, а потом посоветовал сменить климат. Климат сменили за него. Приказ о переводе в Ковыльск судебным следователем второго участка был подписан в августе, вежливо, без единого дурного слова, и от этой вежливости было хуже, чем от выговора. Ему никто не сказал прямо, за что. Все знали и так.

Квартиру нашли через канцелярию окружного суда: две комнаты над лавкой шорника, с печью, которая дымила, и с хозяйкой, вдовой столоначальника Евдокией Марковной, которая в первый же вечер принесла ему пирог с капустой и долго рассказывала о своём покойном муже, о ценах на дрова и о том, что приличным людям в Нижний город ходить не следует. Стрешнев слушал и кивал. Чемодан с книгами стоял нераспакованным в углу. На столе лежали только папка с делами, переданными ему предшественником, и маленькие карманные часы с треснувшим стеклом, которые он почему-то не мог ни починить, ни выбросить.

В восемь он оделся, выпил остывший чай и вышел.

Камера следователя второго участка помещалась не в здании суда, а в Сенной полицейской части, в двух комнатах на втором этаже, потому что, как объяснил ему председатель, «у нас вся работа там, внизу, а наверху у нас, слава богу, тихо». Стрешнев спускался к Сенной по Крутому взвозу, и с каждым шагом город менялся. Наверху были тротуары из тёсаного камня, вывески с золотыми буквами, кондитерская с кофейными чашками в окне. Ниже, за церковью Вознесения, камень кончался, начинались деревянные мостки, под ними хлюпала грязь, а вывески становились всё короче и честнее: «Чай». «Сапоги». «Хлеб». «Здесь стригут». Запах тоже менялся: от сдобы и угля к рыбе, мокрой шерсти, дёгтю и тому сладковатому духу гниющей капусты, который в Нижнем городе, как потом узнал Стрешнев, стоит с октября до самого снега.

Сенная площадь открылась ему не сразу. Сначала из тумана выступил угол каменного дома с облупленной штукатуркой, потом телега с бочками, потом лошадиная морда, мокрая и равнодушная, а потом вдруг раздались голоса, много голосов, будто кто-то открыл дверь в переполненную залу. Рынок уже работал. Торговки сидели над корзинами с картошкой и луком, кутаясь в платки; мужик в рваном армяке продавал с рук подкову и ржавый замок; у столба дрались два пса за рыбью голову. И повсюду, в ногах у взрослых, между телег и корзин, сновали дети: в тряпье, в материнских кофтах до колен, в отцовских картузах, сползающих на глаза. Одни носили воду, другие клянчили, третьи просто стояли и смотрели. Стрешнев заметил, что дети здесь смотрят на прохожих совсем не так, как в Верхнем городе: не с любопытством, а оценивающе, как торговцы.

Полицейская часть стояла на восточной стороне площади, двухэтажная, жёлтая, с каланчой, на которой в тумане едва угадывался силуэт дозорного. У крыльца курил городовой. Он

лениво отдал честь, не вынимая трубки изо рта, и тут же отвернулся, потому что из дверей части донёсся крик.

Кричала женщина. Не громко даже, а как-то надсадно, на одной ноте, как кричат, когда давно уже кричат и голос сорван.

– Да уймись ты, Устинья, – говорил кто-то хриплым басом. – Уймись, говорю. Найдётся твоя девка. Не первый раз.

– Третий день! – отвечала женщина. – Третий день, Фрол Ильич! Нигде нет! Я и к Хлудову ходила, и на пристань, и к перевозчикам, и на Мокрую слободку!

Стрешнев вошёл. В приёмной части пахло мокрыми сапогами, махоркой и сургучом. За барьером сидел писарь с жидкими усами и делал вид, что пишет. У барьера стояла женщина лет тридцати, худая, с красными распаренными руками прачки, в сером платке, сбившемся на плечи. А перед ней, опираясь кулаками о барьер, возвышался грузный человек в полицейском мундире, расстёгнутом на животе, с лицом, напоминавшим непропечённую булку, и маленькими умными глазками.

– Что здесь? – спросил Стрешнев.

Грузный обернулся, оглядел его с головы до ног, задержался взглядом на петербургском пальто и на ботинках, уже испачканных сенной грязью, и медленно застегнул одну пуговицу мундира.

– Надзиратель Сенной части Гусёк, Фрол Ильич, – сказал он. – А вы, стало быть, новый господин следователь. Нас извещали. Здравия желаю. Ничего здесь, ваше благородие. Баба девчонку потеряла.

– Не потеряла! – женщина повернулась к Стрешневу, и он увидел её глаза, сухие, воспалённые, и понял, что она не плакала, может быть, все эти три дня, и что это хуже, чем если бы плакала. – Не потеряла я её, барин. Её взяли.

– Кто взял? – спросил Стрешнев.

– А я почём знаю? Взяли. Она у меня не гулящая. Ей восемь годов. Она бельё со мной носит, она мне помогает. Она без меня никуда. Вышла во двор за водой и не воротилась.

– Когда?

– В субботу. В субботу вечером, как к вечерне звонили.

Гусёк вздохнул так, словно на него взвалили мешок.

– Ваше благородие, тут дело такое, – сказал он, понизив голос, но не настолько, чтобы женщина не слышала. – На Сенной детей пропадает что ни месяц. Кто к цыганам убежит, кто к бродячим артистам, кто в Нижний на баржу просится, кто, извиняюсь, в реку. Весной всплывают. Мы ищем, конечно. Записываем. Но ежели каждого искать всей частью, так у меня людей нет. У меня на всю Сенную шесть городовых, а из них двое пьют.

– Записали? – спросил Стрешнев.

– Записали, – подтвердил писарь, не поднимая головы.

– Покажите.

Писарь нехотя подвинул журнал. Стрешнев прочёл: «Пропала дочь прачки Устиньи Чижовой Лукерья восьми лет. Приметы: росту малого, волосом светлая, в платке синем с белым горохом, в башмаках материнских. Розыск объявлен». Подпись. Дата. И всё. Строчкой выше было записано, что у купца Медведева со двора свели корову. Строчкой ниже – что в трактире «Якорь» разбили голову отставному унтеру.

– Это всё? – спросил он.

– А что ж ещё, ваше благородие?

Стрешнев перелистнул страницу назад. Потом ещё одну. Он не искал ничего определённого, просто листал, как листают чужую жизнь, и вдруг остановился. «Пропал сын солдатки Матрёны Гуляевой Степан девяти лет». Август. Ещё назад. «Пропала дочь нищенки Акулины,

прозванием Косая, девочка Марфутка, лет семи». Июль. «Пропал мальчик Алёшка, живший при ночлежном доме Хлудова, без родных, лет десяти». Тоже июль.

– Фрол Ильич, – сказал Стрешнев, – вот это всё нашлось?

Гусёк заглянул в журнал, пожевал губами.

– Алёшка, этот, кажись, к артистам убёг. Говорили так. Марфутка… Не помню. Степка Гуляев… Нет, не нашёлся.

– А вы искали?

Надзиратель посмотрел на него долгим взглядом, в котором не было ни обиды, ни вины, а только какая-то тяжёлая, давняя усталость.

– Искали, ваше благородие. Как могли.

Женщина у барьера вдруг заговорила быстро, будто боялась, что её перебьют:

– Барин. Барин, вы послушайте. Я ведь не просто так. Я ведь её видела.

– Кого?

– Лушу. Мою Лушу. Видела, вот как вас.

– Где?

Она сглотнула.

– В окне. В лавке. У немца. Там, на углу. Я вчера шла мимо, а там она стоит. Моя Луша. В синем платочке с горохом. И глаза… Её глаза.

Гусёк закашлялся и отвёл взгляд.

– Это кукла, ваше благородие, – сказал он. – У немца, у Лаубе, лавка на углу, куклы делает. Он их в окно выставляет. Бабы там вечно толпятся. Мало ли что почудится.

– Не почудилось! – Устинья ударила ладонью по барьеру, и писарь вздрогнул. – Не почудилось мне! Платочек её! Я этот платочек сама на базаре брала, на пасху, за пятиалтынный! И коса так заплетена, как я ей заплетаю, через одну прядь! И родинка! Над губой родинка, слева!

Стрешнев молчал. Он чувствовал, как внутри поднимается то знакомое, холодное, сосредоточенное чувство, которое он когда-то любил и которого потом научился бояться: чувство, что нить нащупана и надо только потянуть. В Петербурге он тянул за такую нить. Всё сошлось тогда, каждая мелочь, каждая родинка. А потом, через два года, оказалось, что не сошлось ничего.

– Покажите мне, – сказал он женщине.

– Ваше благородие, – начал было Гусёк.

– Вы пойдёте с нами, Фрол Ильич.

Надзиратель снова вздохнул, взял с вешалки фуражку и шинель и пошёл впереди, тяжело и неторопливо, расталкивая толпу плечом, но без грубости, как расталкивает воду лодка.

Туман на площади немного поредел. Теперь можно было различить и другую сторону, где стояли каменные дома с лавками в нижних этажах: шапочник, медник, свечная торговля, ссудная касса, вывеска которой была написана так криво, будто писавший был пьян или боялся. На самом углу, там, где от Сенной уходил вниз к реке Кривой переулок, стоял узкий двухэтажный дом, тёмный, словно закопчённый, с высокими окнами на первом этаже. Над дверью висела жестяная вывеска, когда-то, видимо, крашеная, а теперь облезлая до серого: «Э. К. ЛАУБЕ. КУКЛЫ И ПОЧИНКА». Буквы были выведены старательно, с завитками, и от этих завитков, полустёртых сыростью, веяло чем-то чужим, давним, не здешним.

Перед витриной стояли люди. Две торговки с корзинами, мальчишка с вязанкой хвороста, старуха в салопе. Они не разговаривали. Они просто смотрели.

Стрешнев подошёл.

Витрина была большая, в шесть стёкол, разделённых деревянными переплётами, и за стёклами, на ступенчатых полках, обтянутых выцветшим зелёным бархатом, сидели куклы. Их было, может быть, тридцать, может быть, больше. Фарфоровые головки, тряпичные тела, восковые лица. Барышни в кружевных платьях с кринолинами, гусар в ментике, арлекин,

монашка, крестьянская девка в сарафане, барабанщик с крошечным барабаном. Но не это заставило его замереть, и не это держало у витрины торговок с корзинами.

Почти все куклы смотрели на улицу.

Это было устроено, конечно, нарочно: кукольник ставил их так, чтобы прохожий встречался с ними взглядом, и это было разумно, торговле на пользу. Но глаза у этих кукол были не такие, как у тех, что продаются в Гостином дворе. Стрешнев видел немецких кукол в Петербурге, видел французских, с их фарфоровой гладкостью и одинаковым, чуть сонным выражением. Здесь выражения были разные. Монашка смотрела строго и печально. Барабанщик – дерзко. Крестьянская девка, казалось, вот-вот рассмеётся. А сквозь стекло, в мутном свете туманного утра, все они казались почти живыми, и от этого «почти» по спине пробирался холод.

– Вот, – сказала Устинья шёпотом. – Вон она.

В левом нижнем углу витрины, чуть в стороне от прочих, на маленькой деревянной скамеечке сидела кукла ростом в локоть, в холщовом платьице и синем платочке с белым горохом. Платочек был повязан низко, по-деревенски, концы его были завязаны под подбородком. Из-под платка выбивалась светлая коса, заплетённая не в три пряди, а как-то сложнее, с перехватом. Лицо у куклы было восковое, широкоскулое, с чуть вздёрнутым носом, а над верхней губой, слева, темнела крошечная точка – родинка. Руки куклы лежали на коленях, а в руках она держала деревянное ведёрко, такое маленькое, что в нём уместился бы разве напёрсток.

И глаза. Глаза были серые, стеклянные, чуть влажные на вид, и смотрели не на улицу, как у остальных, а куда-то вбок и вниз, будто девочка задумалась о чём-то своём.

– Луша, – сказала Устинья, и голос её вдруг сломался. – Лушенька.

Она прижала ладони к стеклу, и одна из торговок отвела глаза и перекрестилась.

Стрешнев смотрел на куклу долго, очень долго, потом посмотрел на Устинью. Девочке было восемь лет. Светлая. Платок с горохом. Родинка над губой слева. Ведро – она носила воду, ушла за водой и не вернулась.

– Фрол Ильич, – сказал он негромко, – эта кукла давно здесь стоит?

– Не могу знать, ваше благородие. Я в окна к немцу не заглядываю.

– Стоит с пятницы, – сказала вдруг старуха в салопе.

Все обернулись к ней. Старуха была маленькая, сморщенная, с острыми, как у птицы, глазами.

– С пятницы, – повторила она. – Я тут каждый день хожу, в церковь, к ранней. В четверг не было. В пятницу утром стоит. Я ещё подумала: экая хорошая, будто живая. Будто нашей Устиньи девчонка. А в субботу девчонка и пропала.

Стало тихо. Даже рынок за спиной, казалось, притих, хотя, конечно, это только почудилось.

– В пятницу, – повторил Стрешнев. – До того, как девочка пропала.

– Так, – сказала старуха. – До того.

Торговка с корзиной сплюнула через плечо.

– Немец он и есть немец, – сказала она негромко, но так, чтобы слышали все. – Говорили ж. Он детей рисует. Сидит у окошка и рисует. Я сама видала. Карандашиком так – чирк, чирк. Ребёнок мимо пробежит, а он уж рисует. А потом, гляди, кукла.

– Помолчи, Фёкла, – сказал Гусёк, не оборачиваясь.

– А чего мне молчать? Мой Ванька тоже мимо бегает. Чего мне молчать?

Стрешнев оглянулся на дверь лавки. Дверь была закрыта, на стекле в ней висела табличка, написанная тем же старательным почерком с завитками: «Закрыто». За стеклом виднелась тёмная внутренность лавки: прилавок, полки, какие-то коробки. Никакого движения. Он перевёл взгляд вверх, на окна второго этажа. Занавески там были задёрнуты. Только в одном, крайнем справа, занавеска была чуть отодвинута, на палец, не больше, и Стрешневу показа-

лось, хотя он не мог бы в этом поклясться, что в щели что-то блеснуло: стекло, или пенсне, или глаз.

Он отступил на шаг от витрины, и ему показалось ещё, что все тридцать кукол проводили его взглядом.

– Фрол Ильич, что вы знаете о хозяине?

Надзиратель пожал плечами.

– Лаубе, Эмиль Карлович. Из немцев, но давно здешний, ещё при старом губернаторе сюда приехал, лет двадцать назад, а то и больше. Лавку держит, куклы делает, игрушки чинит, музыкальные шкатулки там, часы с фигурками. Господа к нему ходят, из Верхнего. На Рождество очередь бывает. Тихий. Не пьёт. Податей не задерживает. Жена у него померла давно. Была дочь, утонула, лет десять тому, а то и двенадцать. С тех пор он, говорят, не того. Людей сторонится. Но никакого за ним дурного не было. Ни разу.

– Не было, пока не было, – сказала торговка Фёкла.

– Фёкла!

Стрешнев снова посмотрел на куклу в синем платке. Ему пришло в голову, что кукольник, если он рисует детей у окна, мог нарисовать девочку, которая носит мимо его лавки воду, и сделать с рисунка куклу, и выставить её в пятницу, а в субботу девочка могла уйти к реке за водой и оступиться на мостках. Это объяснение было простое, будничное и, наверное, верное. Ему пришло в голову и другое: что Устинья могла дорисовать в кукле то, чего там нет, как дорисовывают матери в каждой встречной девочке черты потерянной. Но родинка была. Он видел её своими глазами. И ведёрко.

«Не торопись, – сказал он себе. – Ради бога, не торопись».

Это был его петербургский голос. Он знал этот голос, знал, что тот появился слишком поздно, когда часовщика Сизова уже увели по Шпалерной в серый дом, и что с тех пор этот голос твердит одно и то же над каждой бумагой. Иногда Стрешнев думал, что этот голос спас его от новых ошибок. Иногда – что голос этот сделал его негодным для службы, потому что следователь, который боится потянуть за нить, ничем не лучше того, кто тянет за всякую.

– Устинья, – сказал он, повернувшись к прачке, – вы говорите, Луша ушла за водой. Куда? К колодцу или к реке?

– К колонке, барин. У нас во дворе колонка. А на улице, у Хлудова, вторая. Она к хлудовской ходила, там вода чище.

– Это далеко?

– Да нет. Вон за углом. Минута, две.

– И её никто не видел?

– Видели, как пошла. Соседка видела. А назад не видела.

– А ведро?

Устинья растерянно моргнула.

– Ведро?

– Ведро нашлось?

Она помолчала, и он увидел, как меняется её лицо, словно она впервые об этом подумала.

– Нет, – сказала она медленно. – Ведра нету. Я и не подумала. Нету ведра. Ведро-то наше, жестяное, с ручкой гнутой. Нету.

Если ребёнок оступается на мостках у реки, ведро остаётся на мостках или плывёт по реке, и его находят перевозчики. Если ребёнок убегает к бродячим артистам, он не тащит с собой жестяное ведро с гнутой ручкой. Если ребёнка уводят за руку, то ведро либо бросают тут же, либо берут с собой, чтобы не осталось следа.

Он записал в книжку: «Ведро. Жестяное, ручка гнутая. Нет». И ещё: «Кукла выставлена в пятницу (старуха, ходит к ранней). Девочка пропала в субботу вечером». И ещё, после паузы: «Родинка».

– Фрол Ильич, – сказал он, – мне нужно, чтобы ваши люди обошли все дворы вокруг хлудовской колонки и спросили всех, кто был там в субботу вечером. Всех. Торговок, извозчиков, нищих, мальчишек. Кто что видел. Кто проходил. Чужие экипажи, чужие люди. И ведро: может, кто нашёл или продал.

– Ваше благородие, у меня шесть человек.

– Тогда возьмите четверых.

Гусёк посмотрел на него с выражением, которое Стрешнев не сразу сумел прочесть, а потом понял: это было что-то похожее на удивление, и даже, может быть, на тень уважения, хотя скорее на подозрение, что столичный господин сам не понимает, во что лезет.

– Слушаюсь, – сказал надзиратель.

– И ещё. Когда эта лавка открывается?

– Немец открывает в десять. Ежели открывает. Иной раз и в полдень.

Стрешнев достал часы. Было без двадцати девять. Треснувшее стекло делило циферблат надвое, и стрелки, казалось, существовали в двух разных временах сразу.

– Я подожду, – сказал он.

Торговки разошлись. Старуха в салопе ещё постояла у витрины, пошептала что-то и ушла. Мальчишка с хворостом исчез, будто его и не было. Устинья осталась. Она стояла у стекла, прислонившись к нему плечом, и смотрела на куклу, и время от времени шевелила губами, будто рассказывала ей что-то. Стрешнев отвёл её к крыльцу соседнего дома и усадил на ступеньку. Она не сопротивлялась.

– Расскажите мне про Лушу, – сказал он.

– Чего рассказывать, барин?

– Всё. Какая она. С кем дружит. Куда ходит. Чего боится.

Устинья посмотрела на него с недоверием, потом, кажется, решила, что барин спрашивает всерьёз, и заговорила. Говорила она сперва неохотно, рублеными фразами, а потом всё свободнее, и Стрешнев слушал, не перебивая и только изредка записывая. Луша была тихая, но не робкая. Она пела, когда полоскала бельё. Она умела считать до ста, потому что ходила по воскресеньям в школу при церкви, к учительнице, «барышня там такая, Ксения Никитична, строгая, а дети к ней сами бегут». Она боялась собак и пьяных. Она любила смотреть на кукол в немецком окне. «Все наши любят, барин. Там тепло светится вечером. Встанут и смотрят». Она дружила с Ванькой, сыном торговки Фёклы, той самой, что ругала немца, и с девочкой Марфуткой, которая летом пропала. «Плакала тогда Луша. Всё спрашивала, куда Марфутка ушла». Отец Луши был грузчик на пристани и утонул пять лет назад, по пьяному делу. Других детей у Устиньи не было. «Было двое ещё. Померли махонькими».

– Вы сказали, что она любила смотреть на кукол, – сказал Стрешнев. – А сам кукольник? Он с ней говорил? Подзывал её? Давал что-нибудь?

Устинья задумалась.

– Не знаю, барин. Он ни с кем не говорит. Иной раз выйдет, постоит на крыльце, трубку покурит и уйдёт. На детей посмотрит так… – она поискала слово. – Как будто ищет кого. А чтоб говорил – нет. Нет, не видала.

– Как будто ищет кого, – повторил Стрешнев.

– Так.

В девять сорок вернулся один из городовых Гуська, молодой, рябой, мокрый от тумана, и доложил, что у хлудовской колонки в субботу вечером было, как всегда, людно, что все видели «девчонку Устиньину» и никто не видел, куда она делась, что какая-то торговка будто бы слышала, как проехала карета, «хорошая, на резиновом ходу, тихо так», но торговка была выпивши и за свои слова не ручается. И что ведра никто не находил.

– Карета, – сказал Стрешнев. – На Сенной часто ездят кареты?

Городовой ухмыльнулся.

– Никак нет, ваше благородие. Господа к нам в каретах не ездют. Разве доктор.

– Какой доктор?

– Да доктор Мерцалов. Аристарх Львович. Он по субботам к Хлудову ездит, бедных лечит бесплатно. Святой человек. У него карета с гербом. Только он в субботу-то, кажись, не был, захворал будто. А может, и был. Не знаю.

Стрешнев записал и это.

В десять ноль три, ровно, как будто кто-то стоял за дверью с часами в руке, табличку «Закрыто» за стеклом перевернули. Звякнул засов. Дверь кукольной лавки приоткрылась на ладонь, и из щели потянуло теплом, запахом клея, воска, льняного масла и ещё чего-то сладкого, похожего на ладан.

Никто не вышел.

Стрешнев поднялся со ступеньки, оправил пальто и посмотрел на Устинью.

– Посидите здесь, – сказал он. – Я поговорю с ним.

– Барин, – она схватила его за рукав. Пальцы у неё были жёсткие, как корни. – Барин, вы только спросите его. Спросите, откуда у него моя Луша. Он знает. Он знает, я вижу. Он её рисовал.

Он мягко высвободил рукав.

– Я спрошу.

Он подошёл к двери. Над ней, на железном пруте, висел колокольчик, медный, тёмный от времени, с вырезанной на нём фигуркой, которую Стрешнев не сразу разглядел, а разглядев, остановился. Это был крошечный человечек с длинными руками, и руки эти держали нити, а нити уходили вниз, к колокольчику, будто это человечек звонил, а не ветер и не дверь.

Он толкнул дверь, и колокольчик зазвонил, тонко и чисто, совсем не так, как звонят лавочные колокольчики, а как звонит что-то очень старое и очень хорошо сделанное. Звук ещё стоял в воздухе, когда Стрешнев шагнул через порог, и ему показалось, что вместе со звуком в тёмной лавке повернулись к нему сотни крошечных голов.

Туман за его спиной сомкнулся над Сенной, как вода.

Глава 2. Лавка кукольника

Внутри было темнее, чем казалось с улицы, и теплее, чем следовало быть в лавке, где хозяин, по словам Гуська, не тратил лишнего. В глубине, за прилавком, гудела изразцовая печь, и от неё шёл ровный, сухой жар, какой бывает в оранжереях. Свет падал только из витрины, сзади, мутный, рассеянный туманом, и в этом свете Стрешнев сперва различил лишь очертания: высокий прилавок тёмного дерева, полки до потолка, лестницу на колёсиках, приставленную к полкам, и бесчисленные маленькие фигуры, сидевшие, стоявшие, лежавшие повсюду, куда ни глянь.

Глаза привыкли, и фигуры стали куклами.

Они были везде. На полках вдоль стен сидели рядами, плечом к плечу, как ученики на скамьях. На прилавке стояли под стеклянными колпаками – самые дорогие, должно быть, в шелках и кружевах. С потолка на тонких нитях свисали марионетки: шут, чёрт, солдат, смерть с косой, ангел с облезлыми крыльями. Нити тихо покачивались от сквозняка, впущенного дверью, и марионетки шевелились, будто готовились к представлению. В углу на сундуке громоздились безрукие и безногие тела, сваленные кучей, а рядом, в плетёной корзине, лежали головы – десятки фарфоровых и восковых головок без волос, без глаз, с пустыми глазницами, обращёнными вверх.

Колокольчик над дверью ещё дрожал. Стрешнев закрыл за собой дверь, и звон оборвался.

– Сейчас, – сказал кто-то из глубины лавки. Голос был негромкий, глуховатый, с той едва заметной твёрдостью на согласных, по которой узнают людей, выучивших русский язык взрослыми и выучивших его хорошо. – Одну минуту. Клей стынет.

За прилавком, в проёме, ведущем во внутренние комнаты, висела тяжёлая суконная занавеска. Она шевельнулась, и вышел человек.

Он был высок и сутул, так сутул, будто всю жизнь провёл, склонившись над чем-то маленьким. Лет ему было около шестидесяти. Длинное лицо, впалые щёки, седые волосы, остриженные коротко, по-солдатски, и аккуратная седая бородка. На носу сидели очки в стальной оправе с одним треснувшим стеклом, и Стрешнев, к своему удивлению, ощутил при виде этой трещины что-то похожее на сочувствие. На кукольнике был серый суконный жилет, белая рубаха с закатанными рукавами и кожаный фартук, покрытый пятнами краски, клея и воска. Руки у него были длинные, худые, с узловатыми пальцами, и в правой руке он держал тонкую кисточку.

Он посмотрел на Стрешнева поверх очков, потом сквозь них, и в этом взгляде не было ни испуга, ни любопытства. Он смотрел, как смотрят на заготовку: оценивая пропорции.

– Вы не покупатель, – сказал он.

– Нет.

– И не починка. У вас ничего нет в руках.

– Судебный следователь Стрешнев, – сказал Стрешнев. – Вы Эмиль Карлович Лаубе?

Кукольник положил кисточку на прилавок, аккуратно, на край фарфорового блюдца, чтобы не запачкать дерево. Вытер руки о фартук.

– Да, – сказал он. – Я Лаубе.

– У вас в витрине кукла. Девочка в синем платке с горохом.

Лаубе не повернул головы к витрине. Он смотрел на Стрешнева.

– Да, – сказал он. – Есть такая.

– Мать пропавшей девочки, Лукерьи Чижовой, утверждает, что кукла – портрет её дочери. Девочка пропала в субботу вечером. По словам свидетельницы, кукла появилась в витрине в пятницу утром.

Лаубе молчал. В печи что-то треснуло. Где-то в глубине дома мерно, тяжело тикали часы, и, прислушавшись, Стрешнев понял, что часов несколько и что идут они не совсем в лад, так что тиканье похоже на шаги нескольких людей, бредущих по коридору.

– Это правда? – спросил он.

– Что именно? – спросил кукольник.

– Что кукла – портрет девочки.

– Это правда, – сказал Лаубе.

Он сказал это просто, без вызова и без смущения, как говорят: да, сегодня туман.

– Вы знали девочку?

– Я не знаю, как её зовут. Я видел её много раз. Она носит воду мимо моего окна. Вот так, – он вдруг согнул левую руку, будто держал на ней тяжесть, и наклонился чуть вправо, уравновешивая, – ведро в левой руке, а правой она машет, чтобы не упасть. Она поёт, когда идёт. Я не слышу, но вижу, что поёт. Губы. У неё хорошее лицо. Простое и не глупое. Такие лица редки.

– Вы её рисовали.

– Да.

– Когда?

– Я не помню. В сентябре. Может быть, в августе. Много раз.

– Покажите.

Лаубе помедлил – не больше секунды, но Стрешнев эту секунду заметил. Потом кукольник повернулся к полке за прилавком, снял с неё толстый альбом в потёртом кожаном переплёте, без надписи, положил на прилавок и раскрыл.

Это были рисунки карандашом, иногда тронутые акварелью, иногда сангиной. Дети. Одни только дети. Мальчик, сидящий на тумбе и грызущий яблоко. Девочка, держащая на руках младенца, едва ли меньше себя. Два брата, дерущихся за шапку. Нищенка с протянутой ладонью, лицо которой было нарисовано так, что Стрешнев невольно отвёл взгляд, потому что в этом лице было больше правды, чем ему хотелось бы видеть. Рисунки были превосходные. Он не был знатоком, но видел картины в Академии и в Эрмитаже и понимал, что перед ним рука настоящего мастера. Быстрая, точная, ничего лишнего: две линии на щеке, тень под глазом, и вот уже живой ребёнок, голодный, хитрый, испуганный, усталый.

Лаубе перелистнул несколько страниц и остановился.

На листе была Луша. Он узнал её сразу, хотя видел только куклу: широкие скулы, вздёрнутый нос, родинка над губой. Девочка шла с ведром, накренившись, как показал кукольник. Её рот был приоткрыт – пела. Рядом, на том же листе, была ещё одна Луша, крупнее, только лицо, в платке, и под ним мелкий, аккуратный почерк: «Синий, белый горох. Коса – через прядь. Глаза серые, светлые». А ниже, ещё мельче, какие-то цифры: расстояние от глаза до глаза, ширина лба, длина носа.

– Вы измеряли её? – спросил Стрешнев.

– На глаз, – сказал Лаубе. – Я давно этим занимаюсь. Я умею на глаз.

– Зачем?

Кукольник поднял на него взгляд поверх очков.

– Чтобы сделать куклу.

– Зачем вам кукла этой девочки?

Лаубе долго молчал. Часы в глубине дома шли и шли.

– Вы не поймёте, – сказал он наконец.

– Попробуйте.

– Господин следователь, – Лаубе снял очки, протёр их краем фартука, снова надел. Без очков его лицо было беззащитным и старым. – Куклы, которые продаются в Гостином дворе, сделаны в Нюрнберге или в Париже, на фабриках, тысячами, по одной форме. Они все одина-

ковые. У них лицо, которое ничего не значит. Красивое, пустое. Дети их любят, потому что дети любят всё. Но это… – он поискал слово, – это мёртвая работа. Я так не умею. Я не могу сделать лицо из ничего. Я должен его увидеть. На улице. Живое. Я вижу лицо, и оно у меня тут, – он коснулся виска, – пока я его не сделаю. Это как болезнь. Иногда месяц, иногда год. Потом я делаю куклу, и оно уходит. И я могу спать.

– Вы делаете куклы со всех детей, которых рисуете?

– Нет. Не со всех. Только с некоторых.

– С каких?

– С тех, которых нельзя не сделать.

Стрешнев перелистнул страницу. Потом ещё одну. Дети, дети, дети. Под некоторыми рисунками стояли пометки: даты, цвета, иногда слово «сделано» и номер. Под рисунком Луши такого слова не было. Он перелистнул назад, к началу альбома, и вдруг остановился на рисунке мальчика лет девяти, в картузе, сдвинутом на затылок, с веснушками и щербатой улыбкой. Под рисунком стояло: «Июль. Сделано. №214».

– Кто это?

Лаубе посмотрел.

– Не знаю, как зовут. Мальчик из ночлежки. Он торговал папиросами. Поштучно.

– Алёшка, – сказал Стрешнев. – Живший при ночлежном доме Хлудова. Пропал в июле. Записан в полицейском журнале.

Кукольник не шевельнулся. Только пальцы его, лежавшие на краю прилавка, медленно сжались.

– Я не знал, – сказал он тихо.

– Где кукла?

– Продана.

– Кому?

– Я не помню. Господину. В августе.

– Вы не записываете, кому продаёте?

– Записываю, – сказал Лаубе. – Тихон записывает. Подмастерье. Книга у него.

– Где ваш подмастерье?

– Наверху. Спит. Он работал до утра.

– Позовите.

Лаубе повернулся к занавеске и сказал громко, неожиданно громким и резким голосом:

– Тихон!

Наверху что-то упало. Заскрипели половицы, потом ступени, и через минуту из-за занавески показался молодой человек лет двадцати двух, худой, светловолосый, с узким бледным лицом и покрасневшими глазами, в мятой рубахе, на ходу застёгивающий жилет. Он увидел Стрешнева, остановился и поклонился – быстро, слишком низко.

– Тихон Зотов, – сказал Лаубе. – Мой ученик. Господин следователь хочет видеть книгу продаж.

– Сию минуту, – сказал Тихон. Голос у него был мягкий, почти девичий. Он нагнулся под прилавок, достал конторскую книгу в коленкоровом переплёте и положил перед Стрешневым, открыв на нужной странице так быстро, словно знал заранее, какая страница понадобится. – Вот, пожалуйста. Август. Номер двести четырнадцать. Мальчик в картузе. Продан двенадцатого августа. Двенадцать рублей.

– Кому?

Тихон провёл пальцем по строчке.

– Записано: «господину, наличными». Фамилии нет, ваше благородие. Господа не всегда называют себя. Особенно приезжие.

– Вы помните этого господина?

Тихон наморщил лоб.

– Кажется… Помню, был господин в сером пальто, с тростью. Средних лет. Из приезжих, по говору. Купил мальчика и ещё одну барышню, номер двести девять. Заплатил не торгуясь. Больше ничего не помню, ваше благородие. Простите. У нас в августе много покупателей. Ярмарка.

Стрешнев смотрел на него. Подмастерье выдержал взгляд секунды две, потом опустил глаза и стал поправлять манжет. Ничего в этом не было особенного: молодой человек из простых, впервые говорящий со следователем, и смущение было бы естественно. Стрешнев записал в книжку: «Тихон Зотов. 22 (?). Книга продаж. Господин в сером, трость, август».

– Девочку в синем платке, – сказал он, – вы выставили в пятницу?

– В пятницу утром, ваше благородие, – ответил Тихон, прежде чем Лаубе успел открыть рот. – Я выставлял. Эмиль Карлович закончил её в четверг ночью, а я утром поставил.

– Кто решает, что выставить в витрину?

– Эмиль Карлович.

Стрешнев посмотрел на кукольника.

– Почему именно её, именно в пятницу?

– Потому что она была готова, – сказал Лаубе. – Я ставлю то, что готово.

– Вы знали, что девочка пропадёт?

Он спросил это ровно, не повышая голоса, и сам удивился, как легко и холодно прозвучал вопрос. Тихон вздрогнул. Лаубе медленно снял очки снова и на этот раз не стал их протирать. Он смотрел на Стрешнева голыми глазами, светло-серыми, выцветшими, с красными прожилками, и в этих глазах впервые за весь разговор что-то шевельнулось. Не страх. Скорее – усталое, давнее презрение, к которому примешивалась жалость, непонятно к кому.

– Если бы я знал, господин следователь, – сказал он, – я бы не делал куклу. Я бы вышел на улицу и взял её за руку и отвёл к матери.

Наступила тишина. Марионетки под потолком медленно поворачивались на нитях.

– Где вы были в субботу вечером, около шести часов? – спросил Стрешнев.

– Здесь. Я всегда здесь.

– Кто может это подтвердить?

– Тихон.

– Тихон?

– Я был у сестры, ваше благородие, – сказал подмастерье тихо. – В Мокрой слободке. С обеда и до ночи. Эмиль Карлович отпустил.

– Значит, никто, – сказал Лаубе. – Значит, я был один. Я обычно один.

Стрешнев закрыл альбом. Не торопясь, положил на него ладонь.

– Я заберу альбом на время.

Это был не вопрос, но Лаубе ответил так, будто его спросили.

– Нет.

– Простите?

– Нет. – Кукольник протянул руку и положил свою длинную худую ладонь поверх альбома, рядом с ладонью Стрешнева, не касаясь её. – Это моя работа. Двадцать лет работы. Вы можете смотреть здесь сколько угодно. Можете приходить каждый день. Но вы не унесёте его.

– Я могу его изъять по закону, Эмиль Карлович.

– Тогда изымайте по закону. С бумагой. С понятыми.

Они смотрели друг на друга над прилавком. Стрешнев понимал, что кукольник прав, что для изъятия нужно постановление, понятые, протокол, и что он, только вчера приехавший в город, не имеет ещё даже печати. Он понимал и другое: что если альбом важен, то за ночь из него могут исчезнуть страницы. И третье: что если он сейчас надавит, то навсегда потеряет возможность говорить с этим человеком.

– Хорошо, – сказал он и убрал руку. – Я приду завтра, с бумагой. А пока, Эмиль Карлович, я прошу вас никуда не уезжать из города.

– Я не уезжал из города двадцать три года, – сказал кукольник. – Я не начну теперь.

– И снять куклу девочки с витрины.

Лаубе покачал головой.

– Это не поможет. Мать будет приходить всё равно. Она будет стоять у пустого окна. Пусть лучше стоит у куклы.

Стрешнев не нашёлся, что ответить. Он кивнул, повернулся к двери, и тут его взгляд упал на лестницу, уходившую вверх, за занавеску, туда, откуда спустился Тихон. На площадке второго этажа, в полутьме, виднелась дверь – не простая, а обитая железными полосами и запертая на висячий замок, большой, амбарный, тёмный, неуместный в доме, где всё остальное было так тонко сделано.

– Что там? – спросил он.

Лаубе проследил его взгляд. Его лицо не изменилось, но голос, когда он ответил, стал глуше.

– Моя комната.

– Вы держите свою комнату на замке?

– Да.

– Почему?

– Потому что она моя.

Тихон смотрел в пол. Часы в глубине дома тикали вразнобой.

Стрешнев не стал спрашивать дальше. Он вышел, и колокольчик над дверью опять прозвонил свою тонкую, чистую ноту, и звук её почему-то долго не отпускал его, пока он шёл через площадь.

Устинья всё так же сидела на ступеньке соседнего дома. Она поднялась ему навстречу, и он покачал головой прежде, чем она спросила.

– Он рисовал её, – сказал он. – Как и многих детей. Это ещё ничего не значит. Я буду искать, Устинья. Обещаю вам.

Она ничего не сказала. Только посмотрела на него долгим взглядом, в котором не было надежды, и отвернулась к витрине.

На краю площади, у водоразборной будки, Стрешнева догнал мальчишка. Тот самый, с хворостом, только теперь без хвороста. Ему было лет одиннадцать, может быть, двенадцать, он был мал ростом, жилист, в куртке, перешитой из солдатской шинели, и в огромных сапогах, явно с чужой ноги. Лицо узкое, острое, с вздёрнутым носом и быстрыми тёмными глазами, а волосы торчали надо лбом вихром, точь-в-точь хохолок у птицы.

– Барин, – сказал мальчишка, пристраиваясь сбоку и подстраиваясь под его шаг. – Барин, а барин. Вы следователь?

– Допустим.

– Новый? Из Питера?

– Допустим.

– Вам человек нужен.

Стрешнев остановился и посмотрел на него сверху вниз.

– Какой человек?

– Который всё знает. Который куда хошь пролезет. На Сенной, у Хлудова, на пристани, в «Якоре», в Мокрой слободке. Который скажет, кто с кем пьёт и кто кому должен. Фрол Ильич, он хороший, только его все знают, при нём молчат. А при мне не молчат. Я маленький.

– И кто же этот человек?

Мальчишка ударил себя кулаком в грудь.

– Клёст. Гришка Клёст. Меня тут всякая собака знает. Спросите хоть Фрола Ильича.

– Почему Клёст?

– А нос, – мальчишка показал на свой нос, острый и чуть кривой. – И ещё я клюю, где плохо лежит. Только я теперь не клюю. Я теперь по чести. Ну, почти.

Стрешнев против воли улыбнулся.

– И сколько стоит твоя честь, Гришка Клёст?

– Гривенник в день, – быстро сказал мальчишка. – И харчи. Ну, ежели харчей нет, то пятиалтынный.

– А если я скажу, что мне не нужен человек?

Гришка пожал плечами с видом бывалого торговца.

– Тогда я сам по себе искать стану. Только без гривенника.

– Искать кого?

Мальчишка вдруг перестал улыбаться. Его острое лицо стало серьёзным и неожиданно взрослым.

– Лушку. И Марфутку. И Алёшку-папиросника. Я Алёшку знал. Мы с ним вместе у Хлудова в подвале спали, прошлой зимой. Он не убёг к артистам. Брехня это. Он бы мне сказал. Он мне всё говорил. Он мне пятак был должен, а он долги отдавал.

Стрешнев молчал.

– Вы немца подозреваете? – спросил Гришка.

– Я никого не подозреваю.

– Брешете, – беззлобно сказал мальчишка. – Все подозревают. Только вы зря. То есть, может, и не зря. Я не знаю. Он чудной, это да. Он меня рисовал раз. Я ему позировал, на тумбе сидел, полчаса. Он мне за это пряник дал. Медовый. И сказал: «Ты похож на птицу». Чудной. Но не злой. Злые – они не так смотрят.

– А как смотрят злые?

Гришка подумал.

– Ласково, – сказал он.

Стрешнев достал кошелёк, вынул монету и протянул мальчишке.

– Это задаток. Пятиалтынный. Харчей у меня нет.

Гришка взял монету, попробовал её на зуб, сунул за щеку и расплылся в щербатой улыбке.

– Чего узнавать, барин?

– Всё, что сможешь, о детях, которые пропали за лето и осень. Кто, когда, где видели в последний раз. С кем были. Кто к ним подходил. И ещё: кто у немца в лавке бывает, кроме покупателей. Кто к его подмастерью ходит. Понял?

– Понял. А где вас искать?

– В части. Наверху. Или на Почтовой, в доме шорника.

– Знаю шорника, – сказал Гришка. – Он злой. Он меня раз вожжами.

И исчез. Именно исчез: только что стоял рядом, а через мгновение Стрешнев увидел мелькнувший вихор уже далеко, между телегами, а потом не видел ничего.

Туман поднимался. Над Сенной проступило низкое белёсое небо, и где-то в Верхнем городе ударили к поздней обедне. Стрешнев обернулся и ещё раз посмотрел на тёмный дом на углу. Отсюда кукол в витрине было не разобрать, только смутное мерцание стёкол. Но на втором этаже, в крайнем правом окне, занавеска снова была отодвинута на палец, и он был теперь уверен, что за ней кто-то стоит и смотрит ему вслед.

Он пошёл в часть, поднялся по скрипучей лестнице в свои две комнаты, где пахло пылью и чужим табаком, и сел писать первую в Ковыльске бумагу: постановление о производстве дознания по делу об исчезновении малолетней Лукерьи Чижовой. Написав, он долго сидел над ней и не подписывал. Потом достал из ящика чистый лист и, сам не зная зачем, вывел на нём столбиком имена из полицейского журнала: Алёшка. Марфутка. Степан Гуляев. Луша. А

под ними поставил вопросительный знак, потому что что-то подсказывало ему, что список не кончен.

Глава 3. Воскресная школа

Церковь Вознесения стояла на границе двух городов, как пограничная застава: фасадом к Верхнему, задами к Нижнему. Фасад был белый, с колоннами, недавно подновлённый на пожертвования купеческого общества. Зады были серые, с облупленной штукатуркой и пристройкой из тёмных брёвен, у которой крыльцо покосилось, а над крыльцом висела доска с надписью: «Бесплатная воскресная школа для детей обоего пола. Занятия по воскресеньям после поздней обедни. Принимаются все».

Последнее слово было подчёркнуто дважды, и Стрешнев подумал, что подчёркивал его кто-то, кому приходилось отстаивать это слово.

Он пришёл в воскресенье, через три дня после разговора с Лаубе. За эти три дня он успел получить печать, подписать постановление, съездить к товарищу прокурора, выслушать от него, что «дело ваше, Платон Андреевич, конечно, нужное, но вы сами понимаете, Сенная», получить бумагу на изъятие альбома и, придя с ней и с понятыми в лавку, обнаружить, что альбом на месте, все листы целы, а Лаубе подписывает протокол молча и только в самом конце просит вернуть альбом «до зимы, потому что зимой я работаю по нему». За эти же три дня Гусёк со своими людьми обошёл Сенную и ничего не нашёл. И ни одна новая кукла не появилась в витрине. И ни одна девочка не вернулась.

Гришка Клёст пропадал, а потом являлся в часть со сведениями, которые были то бесценны, то бессмысленны, и Стрешнев не всегда мог отличить одно от другого. Именно Гришка сказал ему про школу.

– Вам к Ксении Никитичне надо, – сказал мальчишка, жуя выданную ему булку. – Она всех знает. Она нас всех в книжку пишет, кто ходит. И кто перестал ходить – тоже пишет. Она дотошная. Она меня раз за ухо оттаскала, что я у ней мел стащил.

– А ты стащил?

– Так я ж вернул. Половину.

В пристройке было шумно. Стрешнев услышал детские голоса ещё с крыльца и, открыв дверь, остановился на пороге. Комната была низкая, с бревенчатыми стенами, с печью, которую топили явно не жалея дров, и с длинными столами, за которыми сидели дети. Человек тридцать, может, больше. Мальчики и девочки, от шести лет до тринадцати, в чём попало, многие босиком, несмотря на октябрь. Одни писали мелом на грифельных досках, высунув от старания языки. Другие читали вслух по складам, хором, нараспев: «Ба-ба, ма-ма, ры-ба». Третьи просто сидели, грелись у печи и смотрели по сторонам, и Стрешнев понял, что для многих главное в этой школе – тепло и хлеб, который раздают после урока.

У доски, спиной к нему, стояла молодая женщина в тёмно-сером платье без всяких украшений. Она писала на доске крупными буквами: «КОРОВА ДАЁТ МОЛОКО». Рука у неё была твёрдая, буквы ровные.

– Кто прочтёт? – спросила она, не оборачиваясь.

– Ко-ро-ва! – закричал хор.

– Дальше.

– Да-ёт!

– Дальше.

– Мо-ло-ко!

– А откуда я знаю, что вы читаете, а не угадываете? – Она обернулась, и Стрешнев увидел её лицо. Ей было лет двадцать семь, может быть, меньше. Лицо было не красивое, а скорее живое: острый подбородок, тёмные брови вразлёт, серьёзный рот и внимательные карие глаза, в которых, однако, прыгало что-то насмешливое. Тёмные волосы были гладко зачёсаны и убраны в тугой узел. – Федька Сычов. Прочти мне одно слово. Вот это.

Она ткнула мелом в слово «ДАЁТ».

Вихрастый мальчишка лет восьми встал, покраснел, засопел.

– Ко… – начал он.

Хохот.

– Ну? – сказала учительница. – Буква первая какая?

– Дэ, – сказал Федька, подумав.

– Дальше?

– А.

– Вместе?

– Да.

– Ещё?

– Ё… Ёт.

– Вместе?

– Да-ёт! – закричал Федька с торжеством. – Корова даёт!

– Корова даёт, – согласилась учительница. – А Федька Сычов в следующее воскресенье прочтёт мне всё сам. Садись.

Она заметила Стрешнева. Её взгляд скользнул по нему, по пальто, по ботинкам, задержался на лице, и брови её чуть приподнялись.

– Вы ко мне?

– Если вы Ксения Никитична Затеева.

– Я. – Она вытерла руки тряпкой. – Дети, пишите на досках слово «молоко». Десять раз. Кто напишет чисто, получит баранку. Кто напишет «малако», получит баранку тоже, но вторым. Анисья, присмотри.

Девочка лет двенадцати, рыжая, серьёзная, тут же встала и пошла между столами, а учительница подошла к Стрешневу.

– Здесь не поговоришь, – сказала она. – Пойдёмте в сени.

В сенях было холодно и пахло дровами. Через щель в двери долетал хор: «Мо-ло-ко. Мо-ло-ко».

– Вы следователь, – сказала она. Это был не вопрос. – Тот, что приехал из Петербурга. Про вас уже говорят.

– Что говорят?

– Что вы в первый же день пошли к немцу. Что вы хотите его посадить. Что вы будто бы в Петербурге посадили человека, а он оказался невиновен. – Она смотрела прямо, без смущения. – Это правда?

Стрешнев почувствовал, как у него холодеет лицо. Он не ожидал, что это дойдёт сюда так быстро. Он вообще не ожидал, что это дойдёт сюда.

– Кто вам это сказал?

– Все. Ковыльск маленький город, Платон Андреевич. Здесь всё знают раньше, чем случится. Так это правда?

– Да, – сказал он.

Она чуть наклонила голову, будто ожидала, что он станет отпираться, и теперь не знала, что делать с его ответом.

– И теперь вы хотите посадить Лаубе.

– Я хочу найти детей, – сказал Стрешнев. – Лаубе я никуда пока не сажаю. Я пришёл спросить вас о тех, кто пропал.

– Пропал, – повторила она, и что-то в её голосе изменилось. Насмешка ушла, осталась какая-то тяжёлая, едва сдерживаемая злость. – Пропал. Вы знаете, что вы первый, кто об этом спрашивает? Первый. За всю осень. Я ходила в часть дважды. В августе и в сентябре. Фрол Ильич записал и пообещал. Я писала письмо полицмейстеру. Мне ответили, что «приняты

меры». Я ходила к отцу Василию, настоятелю, он сказал, что на всё воля божья и что я слишком близко принимаю к сердцу. Я ходила в Общество попечения о бедных детях, к самой губернаторше, к Ангелине Сергеевне. Меня приняли очень любезно, напоили чаем и сказали, что Общество сделает всё, что в его силах. И ничего. Ничего! А теперь пропала Луша, и вы пришли.

– Я пришёл, – сказал он. – Расскажите мне. Пожалуйста.

Она смотрела на него ещё несколько секунд, будто проверяла на прочность, потом коротко кивнула.

– Подождите.

Она вернулась в класс, и через минуту вышла с тетрадью в клеёнчатой обложке, толстой, потрёпанной, исписанной до половины.

– Я записываю всех, кто приходит, – сказала она. – Имя, возраст, где живёт, кто родители. Отмечаю, кто был в какое воскресенье. Это для отчёта. Попечительский совет требует отчёта о посещаемости. – Она скривилась на слове «попечительский». – Но мне и самой нужно. Я хочу знать, кто перестал ходить. Обычно перестают, потому что пошли работать, или заболели, или семья переехала. Я узнаю. Хожу по дворам. А в этом году…

Она раскрыла тетрадь. Стрешнев увидел столбцы, аккуратно разлинованные карандашом, имена, крестики и нолики, и на полях – красные пометки, сделанные чернилами. Вопросительные знаки.

– Вот, – сказала она. – Июнь. Марфа, по прозвищу Марфутка, семь лет. Мать нищенка, Акулина Косая. Ходила с весны. Очень способная, читала уже лучше всех в своём столе. Пропала в конце июня, после Петрова дня. Мать говорит – ушла на базар и не вернулась. Мать пьёт. Ей никто не поверил.

Палец её двинулся вниз.

– Июль. Алексей, Алёшка, десять лет, без родных, живёт при ночлежке у Хлудова. Ходил нерегулярно, но ходил. Торговал папиросами. Пропал в середине июля. Говорят, убежал к бродячему цирку, который тогда стоял на выгоне. Я ходила в цирк. Его там никто не видел.

– Вы ходили в цирк? – переспросил Стрешнев.

– Ходила. Директор чуть не спустил на меня медведя. – Она не улыбнулась. – Август. Степан Гуляев, девять лет, сын солдатки. Пропал на Ильин день. Мать говорит – с утра ушёл на реку купаться. Тела не нашли. Перевозчики, говорят, не видели. Мать ждёт до сих пор.

Её палец снова двинулся.

– Сентябрь. Аграфена, Груня, одиннадцать лет. Сирота, жила у тётки, тётка торгует пирогами. Пропала двадцатого сентября. Тётка говорит, что Груня нанялась в услужение в Верхний город, к господам, ушла и не вернулась. В какой дом – не знает. «Барыня такая приятная приходила, в сером, сказала, что ищет девочку в няньки». Тётка ей Груню и отдала, за три рубля задатку. И больше ни барыни, ни Груни.

– Барыня в сером, – повторил Стрешнев и записал.

– Октябрь, – сказала Ксения. – Луша Чижова. Вы знаете.

Она закрыла тетрадь.

– Пятеро, – сказала она. – Это только те, кто ходил ко мне. А на Сенной детей вдесятеро больше, чем ходит ко мне. Сколько пропало из тех, кого я не знаю, я не могу вам сказать. Никто не может. Их никто не считает. Их рожают, и они живут, и умирают, и пропадают, и никто их не считает. Понимаете?

– Понимаю.

– Нет, – сказала она. – Не понимаете. Простите. Вы приехали неделю назад.

– Пять дней, – сказал он.

Она коротко, невесело засмеялась.

– Пять дней.

Из класса донёсся грохот и визг. Ксения Никитична обернулась к двери, крикнула: «Анисья!», и визг стих.

– Мне нужно вернуться, – сказала она. – Если вы хотите, возьмите тетрадь. Только верните, мне по ней отчитываться.

– Я перепишу и верну сегодня же.

Она протянула ему тетрадь. Он взял, и их пальцы на мгновение соприкоснулись: её были холодные и шершавые от мела.

– Ксения Никитична, – сказал он, – можно ещё вопрос?

– Спрашивайте.

– Что вы думаете о Лаубе?

Она посмотрела на него с удивлением, будто не ожидала, что её мнение может кого-то интересовать.

– Я думаю, что он единственный человек на Сенной, кроме меня и Фрола Ильича, который смотрит на этих детей, – сказала она медленно. – Смотрит по-настоящему. Видит их лица. Я видела его рисунки. Он показывал мне однажды, когда я приводила детей смотреть на кукол перед Рождеством. Он рисует их, как… как будто они важны. Как будто они кто-то. Понимаете? Не «сенные дети», не «голытьба», а кто-то. Каждый. Я не знаю, хороший он человек или плохой. Он странный. Он почти ни с кем не говорит. Говорят, у него в доме есть комната, куда он никого не пускает, и что он там разговаривает сам с собой. Может быть. Но я не верю, что он крадёт детей. Не верю.

– Почему?

– Потому что если бы он их крал, – сказала она, – он не стал бы делать их кукол и ставить в окно. Это же… это же глупо. Это всё равно что написать на двери: «Я украл». Он не глупый.

– Может быть, он не может удержаться, – сказал Стрешнев. – Бывают люди, которые хотят, чтобы их поймали. Или которые не понимают, что делают что-то дурное.

Она посмотрела на него долгим взглядом.

– Вы так думаете?

– Я не знаю, что я думаю, – сказал он честно. – Я думаю, что пока не знаю ничего. Я стараюсь не думать раньше времени.

– Это из-за Петербурга?

Он помедлил.

– Да.

Она кивнула, будто это что-то решило, и в её лице впервые за весь разговор мелькнуло что-то похожее на сочувствие. Мелькнуло – и исчезло.

– Есть ещё кое-что, – сказала она, понизив голос. – Я никому не говорила, потому что это, наверное, ничего не значит. Но раз уж вы спрашиваете. Луша… Луша в последний раз была на уроке за неделю до того, как пропала. Мы рисовали. Я иногда даю им рисовать, это их успокаивает, и я вижу по рисункам, кому плохо дома. Я дала им тему: «Мой дом». Луша нарисовала странное.

– Что именно?

– Дом. Большой дом. С окнами. А в окнах – кровати. Много кроватей, в ряд. И на кроватях дети. Все лежат. Я спросила, что это, она сказала: «Это дом, где все спят». Я спросила, где это. Она сказала: «Марфутка там». Я спросила, откуда она знает. Она сказала, что ей сказала «тётя». Какая тётя, не сказала. Засмущалась и убежала.

Стрешнев стоял неподвижно. Хор за дверью затих, и было слышно, как скрипят по доскам грифели.

– Где этот рисунок?

– Не знаю. Я собрала листы и… Я их не выбрасываю. Они у меня дома, в коробке. Я поищу.

– Поищите. Пожалуйста. Это может быть важно.

– Вы думаете?

– Я не знаю, – сказал он снова. – Но девочка, которая знала пропавшую подругу, нарисовала место, где та будто бы находится, и сказала, что ей рассказала об этом некая тётя. А через неделю девочка пропала тоже. И другую девочку, Груню, увела в услужение барыня в сером. Я не знаю, что это. Но я хочу видеть рисунок.

Ксения Никитична побледнела. Он видел, как до неё доходит то, о чём он не сказал вслух.

– Господи, – сказала она тихо. – Я ведь подумала тогда, что это она так, придумывает. Дети же придумывают. Я ведь… я ведь не спросила толком.

– Вы не могли знать.

– Могла, – сказала она с ожесточением. – Должна была.

Она отвернулась к двери, постояла так, а потом резко выпрямилась, как человек, которому некогда.

– Я поищу сегодня же. Принесу вам в часть. Или вы зайдите ко мне. Я живу на Вознесенской, дом Лапиной, во флигеле. Вечером.

– Я зайду.

Она кивнула и ушла в класс, не попрощавшись. Через закрытую дверь он услышал её голос, снова ровный, учительский:

– Так. Кто написал «молоко» десять раз? Покажите. Федька, ты написал «малоко». Это лучше, чем «малако», но баранка всё равно вторая.

Стрешнев постоял в сенях ещё минуту, глядя на клеёнчатую тетрадь в своих руках. Потом раскрыл её снова на странице с красными пометками и долго смотрел на имена. Марфа. Алексей. Степан. Аграфена. Лукерья. Пятеро. Пятеро только из тех, кого считала одна упрямая учительница, ходившая ради этого в цирк к медведю.

Он вышел на крыльцо. Небо было низкое и серое, сыпал мелкий, колючий дождь. Внизу, за оградой, лежала Сенная: крыши, трубы, дымы, торговые ряды, и над всем этим, как надгробие, высилась тёмная громада ночлежного дома Хлудова, в пять этажей, с бесчисленными окнами, половина которых была заколочена. Где-то там, в этих переулках, дворах, подвалах, ходила «тётя», которая знала, где «дом, где все спят». Где-то там ходила «барыня в сером», которая искала девочку в няньки.

Он спустился по скрипучим ступеням и пошёл обратно в часть, переписывать тетрадь. По дороге он заставил себя пройти мимо лавки Лаубе и не остановиться. Но, проходя, всё же скосил глаза на витрину. Кукла в синем платочке сидела на прежнем месте. А перед стеклом, сгорбившись под дождём, стояла Устинья Чижова и что-то ей рассказывала, неслышно шевеля губами.

В части было пусто и сонно, как бывает по воскресеньям. Писарь ушёл к обедне и не вернулся, дежурный городовой дремал на лавке у печи. Стрешнев поднялся к себе, зажёг лампу, хотя был ещё день, и сел переписывать. Он переписывал медленно, всё подряд, не только пропавших, но и тех, кто ходил: имена, прозвища, дворы, родителей. Почерк у Ксении Никитичны был быстрый, с наклоном, и кое-где ему приходилось угадывать слова. Иногда на полях попадались пометки, не относившиеся к отчёту: «Кашляет. Сказать матери». «Отец бьёт. Говорила с отцом Василием, без толку». «Голодный. Дала хлеба на неделю». Он переписал и эти пометки тоже, хотя не мог бы объяснить зачем.

Около четырёх на лестнице затопали тяжёлые шаги, и в дверь, не постучав, вошёл Гусёк. Шинель на нём была мокрая, с фуражки капало.

– Был у Хлудова, ваше благородие, – сказал он, снимая фуражку и стряхивая её прямо на пол. – Опять ничего. Как в воду. Никто ничего не видел, никто ничего не знает. Там народ такой: увидит – не скажет, а скажет – так соврёт.

Он заметил тетрадь, подошёл, наклонился, сопя.

– Затеевская, – сказал он. – Барышня ко мне с ней тоже ходила. Два раза.

– Знаю. Она говорила.

Надзиратель помолчал. Потом тяжело опустился на стул напротив, и стул заскрипел под ним.

– Вы, ваше благородие, небось думаете, что Гусёк лентяй и пьяница, – сказал он. – И что барышня приходила, а Гусёк ей от ворот поворот.

– Я так не думаю.

– А и правильно думаете, – сказал Гусёк неожиданно. – Только не совсем. Я тогда ходил. Сам ходил, после неё. По дворам. К тётке Груниной ходил. К Акулине ходил, она пьяная лежала, ничего не сказала. Рапорт писал по начальству. Полицмейстеру. Что на Сенной, мол, пропадают дети, числом не менее трёх, прошу людей. – Он полез за пазуху, достал кисет, повертел в пальцах и не стал развязывать. – Мне ответили. Знаете что? Что Сенная часть сама должна управляться, а ежели не управляется, то, может, надзиратель там нужен другой. Помоложе. Мне до пенсиона три года, ваше благородие. Три года. У меня жена хворая и дочь на выданье.

Стрешнев молчал.

– Вот я и записывал, – сказал Гусёк. – Записывал и не лез. Виноват. – Он поднял на Стрешнева свои маленькие глазки, в которых не было ни хитрости, ни пьяной мути, а была одна только тяжёлая честность. – А теперь вы приехали. И я так думаю: вам-то терять уж нечего, раз вас сюда сослали. Так, может, и мне хватит бояться. Чем могу, помогу. Только вы меня не сдавайте, ежели что.

– Не сдам, – сказал Стрешнев.

Гусёк кивнул, сунул кисет обратно за пазуху, встал и надел мокрую фуражку.

– Завтра с утра у Хлудова обход, – сказал он. – Пойдёте? Там вам надо самому глянуть. Словами не расскажешь.

– Пойду.

Надзиратель ушёл, и его шаги долго ещё стучали по лестнице. Стрешнев дописал последнюю страницу, закрыл тетрадь и сидел, глядя на огонь лампы, пока за окном не стемнело. Вечером он отнёс тетрадь на Вознесенскую, во флигель дома Лапиной. Ксении Никитичны не было дома. Квартирная хозяйка, глухая старуха, взяла тетрадь, долго разглядывала его и наконец сказала: «Барышня по дворам пошла. Она всегда по воскресеньям ходит. Вы ей кто будете?» Он сказал, что никто, и ушёл, и всю дорогу до Почтовой думал о девочке, которая нарисовала дом, где все спят.

Глава 4. Ночлежка Хлудова

Дом Хлудова строился когда-то как казённый провиантский склад, потом был ткацкой фабрикой, потом сгорел наполовину, потом его купил за бесценок купец второй гильдии Харитон Хлудов, надстроил два этажа из брёвен поверх каменных трёх, разгородил всё внутри досками и стал пускать ночлежников по пятаку за ночь. Купец давно помер, наследники жили в Москве и в Ковыльск не заглядывали, а дом стоял, гнил, оседал на один угол и вмещал, по подсчётам Гуська, от шестисот до тысячи душ, смотря по времени года. Зимой – больше. Летом многие уходили на баржи, на сплав, на покос, и в доме становилось просторнее. На Сенной его звали Хлудовской крепостью.

Они пришли туда в семь утра, когда ночлежников выгоняли на улицу: по уставу ночлежного дома днём оставаться внутри было нельзя. Из всех дверей, а их было семь, валил народ – серый, мятый, кашляющий, ругающийся, в лохмотьях и в остатках прежней приличной одежды, которая на них выглядела страшнее лохмотьев. Мужики с испитыми лицами. Бабы с младенцами, завёрнутыми в платки. Старики, которых вели под руки. Какой-то человек в студенческой фуражке без кокарды и в рваном пледе на плечах, с книгой под мышкой. Девица с подведёнными сажей глазами, в шляпке с облезлым пером, остановилась, оглядела Стрешнева и громко сказала: «Ишь, какой чистенький», и пошла дальше, покачивая бёдрами. И дети. Опять дети. Они вылезали откуда-то из-под ног взрослых, из подвальных окон, из щелей, как мыши, и тут же рассыпались по площади.

– Пойдёмте, – сказал Гусёк. – Сейчас, пока пусто.

Внутри стоял запах, к которому нельзя было подготовиться. Стрешнев бывал в петербургских ночлежках, на Обводном, на Сенной – той, другой, столичной Сенной, – и думал, что знает, что это такое. Он ошибался. Здесь было хуже, потому что здесь было сыро. Каменные стены первых этажей сочились водой, доски перегородок почернели и прогнили, и всё это – камень, доски, тряпьё на нарах, сами люди – пропиталось за годы одним и тем же тяжёлым, кислым, сладковатым духом, в котором смешались пот, гниль, махорка, сивуха и что-то ещё, чему он не знал названия.

Коридоры были узкие и тёмные. По сторонам тянулись двери, а за дверями – клетушки, разгороженные досками до половины роста, так что сверху можно было заглянуть в соседнюю. В каждой клетушке – нары в два яруса. На нарах – тряпьё. Кое-где на нарах ещё лежали люди: больные, или пьяные, или те, кто дал смотрителю гривенник, чтобы остаться на день.

– Тут, ваше благородие, своя жизнь, – говорил Гусёк, протискиваясь по коридору боком. – Свой закон. Тут староста есть, по этажу. Тут суд свой. Украл у своего – бьют. Донёс – убьют. Детей тут рожают, крестят, хоронят, а в метрики никто не пишет. Сколько их тут, никто не знает. Я пробовал считать. Бросил.

– А смотритель?

– Смотритель Пантелей Мохнаткин. Пьёт. Деньги собирает и в Москву наследникам отсылает, сколько не пропил. Ему что? Ему лишь бы платили.

Они поднялись на третий этаж. Здесь было теплее – топили, кажется, единственную на весь дом большую печь, – и людей было больше. В одной из клетушек на нарах сидела старуха и вязала чулок, и спицы в её руках мелькали так быстро, что сливались в блестящий веер. Гусёк остановился.

– Здорово, бабка Ульяна.

– Здорово, Фрол Ильич. – Старуха не подняла головы. – Кого привёл?

– Следователя. Из Питера. Насчёт ребят.

Спицы на мгновение замерли. Потом снова замелькали.

– Насчёт ребят, – повторила старуха. – Насчёт ребят теперь поздно.

– Это почему же? – спросил Стрешнев.

Старуха наконец подняла голову. Лицо у неё было тёмное, изрезанное морщинами, как кора, а глаза мутно-белые, слепые, с бельмами.

– Потому что кукольник их забрал, – сказала она. – Кто ж не знает.

– Кукольник?

– А то. Немец с угла. – Она снова опустила голову к вязанью, будто могла его видеть. – Он, говорят, рисует ребёнка. А в рисунке-то – голос. Голос он забирает в рисунок, понял? Нарисует – и голос уже у него. А потом делает куклу и голос в куклу вкладывает. А ребёнок без голоса ходит-ходит, а потом и уходит. Куда без голоса? Без голоса человек не человек. Тень.

– Кто вам это сказал, бабушка?

– А все говорят. – Спицы мелькали. – Алёшка-папиросник, говорят, позировал ему. И пропал. Марфутка, Акулинина, ему позировала. И пропала. А куклы-то у него стоят, глядят. Голосами нашими глядят.

Гусёк кашлянул.

– Брехня это, бабка.

– Брехня так брехня. – Старуха пожала плечами. – А только ты, Фрол Ильич, у немца в окне-то посчитай, сколько наших. Посчитай. Я-то не вижу, а ты посчитай.

Они пошли дальше. Стрешнев молчал. Гусёк сопел.

– Народ тёмный, – сказал наконец надзиратель, не оборачиваясь. – Чего не понимает, то объясняет чертовщиной. Немец рисует – значит, колдун. Куклы глядят – значит, души в них.

– Сколько детей Лаубе рисовал, как вы думаете?

– А бог его знает. Сотню? Больше? Он двадцать лет сидит у окна.

– А сколько из них пропало?

Гусёк остановился и обернулся.

– Вы что ж, ваше благородие, тоже думаете, что голос в рисунке?

– Нет, – сказал Стрешнев. – Я думаю, что кто-то может верить, будто думаю я. А ещё думаю, что если двадцать лет рисовать всех детей Сенной, то среди нарисованных обязательно окажутся и пропавшие. Это ничего не доказывает. Ни в ту, ни в другую сторону.

– Вот и я говорю, – сказал Гусёк с облегчением.

Они поднялись на четвёртый этаж, потом на пятый, бревенчатый, где сквозь щели в стенах сквозило и где на верёвках сушилось чьё-то бельё. Здесь жили «семейные» – те, кто снимал клетушку не на ночь, а на месяц, и кого смотритель не выгонял днём. В одной клетушке женщина кормила грудью младенца и одновременно помешивала варево в чугунке на крошечной железной печурке. В другой мужик чинил сапог. В третьей двое детей, мальчик и девочка лет пяти, сидели на нарах и играли в тряпичную куклу, разрывая её пополам, каждый к себе.

У крайней клетушки толпились люди. Человек десять, в основном бабы, некоторые с детьми на руках. Они стояли тихо, почти благоговейно, и Стрешнев не сразу понял, что они – очередь.

– Доктор приехал, – сказал Гусёк, понижая голос. – Повезло. Он по субботам ездит, а сегодня, значит, на неделе. Мерцалов. Аристарх Львович.

– Тот самый, что лечит бесплатно?

– Тот самый. Святой человек, ваше благородие. Без шуток. Сюда ведь никто из докторов не ходит. Городовой врач – тот раз в год, по предписанию, с платком у носа. А этот каждую неделю. И лекарства даёт. И денег иной раз. Пойдёмте, познакомлю.

Очередь расступилась перед мундиром Гуська. За дощатой перегородкой, в клетушке чуть просторнее прочих, у маленького окна, затянутого вместо стекла бычьим пузырём, сидел на табурете человек лет пятидесяти и выслушивал младенца, приложив к его груди деревянную трубку.

Он был крупен, но не толст, в хорошем тёмном сюртуке, поверх которого был надет белый полотняный халат, уже чем-то запачканный. Лицо у него было крупное, правильное, полное, с аккуратно подстриженной бородой, в которой пробивалась седина, и с высоким лбом, переходящим в лысину. Глаза – тёмные, тёплые, чуть навыкате, с тяжёлыми веками. Вокруг глаз лучились морщины, какие бывают у людей, которые много улыбаются. Сейчас он не улыбался – он слушал, сосредоточенно, наклонив голову, и мать младенца, совсем молоденькая, почти девочка, смотрела на него, затаив дыхание.

– Ну вот, – сказал доктор наконец, распрямляясь. Голос у него был низкий, бархатный, очень спокойный. – Ничего страшного, голубушка. Хрипы есть, но в верхушках, это простуда. Не воспаление. Держи его в тепле. Грудью корми почаще. А это, – он полез в саквояж, стоявший у ног, достал пузырёк тёмного стекла, – это давай по три капли в тёплой воде на ночь. Чтобы спал хорошо. Когда младенец спит, он выздоравливает. Поняла? Три капли. Не больше.

– Поняла, батюшка, – прошептала мать. – Спаси вас бог.

– Бог спасёт, – сказал доктор, и тут заметил Гуська и Стрешнева, и лицо его осветилось широкой, искренней, обезоруживающей улыбкой. – Фрол Ильич! А я уж думал, вы меня совсем забыли. А это, если не ошибаюсь… – он поднялся, вытирая руки полотенцем, – это наш новый судебный следователь? Господин Стрешнев? Наслышан. Весь Верхний город наслышан. Мерцалов. Аристарх Львович. Рад, очень рад.

Он протянул руку. Рукопожатие у него было крепкое, сухое, тёплое.

– Взаимно, – сказал Стрешнев.

– Вы по делу о пропавших детях, – сказал Мерцалов. Это не было вопросом. – Ужасная история. Ужасная. Я слышал про девочку прачки. Её мать приходила ко мне в субботу, плакала. Я ничем не мог помочь, конечно. Только каплями. – Он покачал головой. – Знаете, Платон Андреевич, я двадцать лет лечу на Сенной. И двадцать лет вижу одно и то же. Дети здесь рождаются, чтобы умереть. Половина не доживает до пяти лет. Из тех, кто доживает, половина не доживает до пятнадцати. Холера, тиф, скарлатина, голод, водка, побои, река. Я не знаю, что страшнее – смерть или та жизнь, которая их ждёт, если они не умрут.

– Вы хотите сказать, что исчезновения – это обычная смертность?

Доктор посмотрел на него внимательно, с лёгкой грустью.

– Я хочу сказать, что здесь, внизу, исчезновение ребёнка – не чрезвычайное событие. Это горе, да. Но это горе, которое здесь случается каждый день. Я не говорю, что не нужно искать. Ищите, ради бога. Ищите. Но не ждите, что найдёте злодея с топором. Чаще всего злодей тут – сама Сенная.

– А кукольник? – спросил Стрешнев.

Мерцалов поднял брови.

– Лаубе? – Он вдруг тихо рассмеялся. – Вы уже слышали эту легенду. Про голоса в рисунках. Бабка Ульяна? – Он покачал головой. – Нет, Платон Андреевич. Эмиль Карлович – мой пациент. Давний. У него больное сердце и нервы, тоже больные, после того, что случилось с его дочерью. Он чудак. Он затворник. Он одержимый, если хотите, своим искусством. Но он не злодей. Я в этом уверен. – Доктор помолчал, потом добавил тише, словно нехотя: – Хотя, конечно, кто может знать наверное, что творится в душе человека, который двенадцать лет разговаривает с куклами?

– Он разговаривает с куклами?

– Это фигура речи, – сказал Мерцалов мягко. – Я врач, а не следователь. Я не должен был этого говорить. Простите. Он мой пациент, а я болтаю. Забудьте. – Он улыбнулся снова, и улыбка была такой тёплой и виноватой, что Стрешнев невольно улыбнулся в ответ. – Если вам понадобится помощь, любая помощь, – обращайтесь. Я знаю здесь многих. Мне доверяют. Я, может быть, смогу узнать то, чего не скажут полиции.

– Благодарю вас.

– Не за что. – Доктор повернулся к очереди. – Следующий! Кто следующий? Ты, Дарья? Опять спина? Иди сюда, голубушка, сядь.

Стрешнев с Гуськом вышли из клетушки. Очередь сомкнулась за ними. Уже в коридоре, у лестницы, Стрешнев обернулся. Из-за перегородки выглядывала женщина, которой он раньше не заметил. Она, должно быть, стояла всё это время в углу клетушки, в тени, за спиной доктора, и держала его саквояж или подавала пузырьки. Женщина была средних лет, плотная, с широким бледным лицом, в сером шерстяном платье и сером платке, повязанном по-монашески, низко на лоб. Она смотрела им вслед. Встретив взгляд Стрешнева, она не отвернулась, а только чуть наклонила голову, с каким-то бесстрастным, почти кукольным спокойствием, и скрылась за перегородкой.

– Кто это? – спросил Стрешнев.

– Где?

– Женщина. В сером. С доктором.

Гусёк оглянулся, но женщины уже не было видно.

– А, это, должно быть, его сестра милосердия. Из приюта. У доктора приют для сирот, на Монастырской, «Дом призрения малолетних». Образцовый. Губернаторша его опекает. Он оттуда иной раз сестёр берёт в помощь. Я их не различаю, ваше благородие. Они все в сером.

Все в сером. Стрешнев ничего не сказал. Он вспомнил тётку Груни, которая отдала девочку «приятной барыне в сером» за три рубля задатку. Он вспомнил это и тут же заставил себя отложить: на Сенной половина женщин ходила в сером, потому что серое дёшево и не марко. Он записал в книжку: «Сестра милосердия при Мерцалове. Серое. Узнать имя». И ещё, подумав: «Капли. Что за капли».

Спускаясь, они завернули в подвал. Гусёк сказал, что надо показать «нижнее царство», и Стрешнев понял, почему надзиратель говорил, что словами не расскажешь. Подвал Хлудовской крепости тянулся под всем домом, низкий, сводчатый, с земляным полом, на котором лежали доски, а на досках – солома. Сюда пускали тех, у кого не было и пятака: за копейку, а то и даром, если смотритель был пьян и добр. Здесь спали вповалку, вперемешку, взрослые и дети. Сейчас подвал был почти пуст, только в дальнем углу, у тусклой коптилки, сидел на перевёрнутом ящике обрюзгший человек в жилете поверх ночной рубахи и пересчитывал медяки на ладони.

– Пантелей Савельич, – сказал Гусёк. – Смотритель.

Мохнаткин поднял на них мутные глаза и попытался встать, но передумал.

– Фрол Ильич, – сказал он сипло. – Я всё внёс. За октябрь всё внёс.

– Не о деньгах, – сказал Гусёк. – Его благородие насчёт Алёшки-папиросника.

– А чего Алёшка? Убёг Алёшка.

– Где он спал? – спросил Стрешнев.

Смотритель ткнул пальцем в угол у печной трубы, проходившей через подвал. Там, в нише между кирпичами, было устроено что-то вроде гнезда: солома, рваный мешок, деревянный ящик вместо подушки.

– Вон. Тёплое место. За него дрались. Алёшка его отбил. Бойкий был.

Стрешнев подошёл, присел на корточки. Ничего. Солома, сор, огарок свечи. Он поднял ящик. Под ним, вдавленная в земляной пол, лежала жестяная коробочка из-под монпансье, помятая, с облезлой картинкой – дама с зонтиком. Он открыл её. Внутри было три копейки, пуговица с орлом, огрызок карандаша и сложенная вчетверо бумажка. Он развернул её. Это была обёртка от леденца, розовая, с отпечатанной надписью: «Кондитерская Пеклера. Дворянская ул.».

– Дворянская, – сказал он. – Это наверху?

– Наверху, – подтвердил Гусёк. – Самая дорогая кондитерская в городе. Там фунт леденцов – полтина. Алёшке такого и во сне не видать.

– Если только кто-то не угостил, – сказал Стрешнев.

Мохнаткин вдруг хихикнул.

– Угощали, – сказал он. – Как же. Летом угощали. Из этих, из благотворительных. Из Общества. Ходили по подвалу, записывали сирот. Кто без родных, кто сколько лет, здоров ли. Для приюта, мол. Леденцы раздавали. Барыня в сером с ними ходила, раздавала. Ласковая такая.

– Кто записывал? – Стрешнев выпрямился. – Когда?

– А я почём знаю, кто. Господа. В июне это было. Или в июле. Бумагу мне показали, с печатью. Я и пустил. Мне-то что? Ежели кого в приют заберут, мне же легче. Меньше народу.

– Забрали кого-нибудь?

– Не знаю. Не помню. – Смотритель снова уставился на свои медяки. – Тут каждую ночь кто-то приходит, кто-то уходит. Кто их считает.

Никто их не считает. Стрешнев слышал эти слова уже второй раз за два дня. Он завернул обёртку и коробочку в платок, положил в карман и вышел из подвала вслед за Гуськом, на холодный воздух, в котором после подвала даже вонь Сенной казалась свежей.

Внизу, у выхода, их ждал Гришка Клёст. Мальчишка сидел на корточках у стены, грыз семечки и сплёвывал шелуху в лужу.

– Барин, – сказал он, вскакивая. – Есть дело.

– Говори.

Гришка покосился на Гуська, и надзиратель хмыкнул и отошёл в сторону, закуривать.

– У немца в окне, – сказал Гришка тихо, – с утра новая кукла. Мальчишка. В картузе с заломом, в жилетке с одной пуговицей. Веснушчатый.

У Стрешнева похолодело в груди.

– Ты его знаешь?

– Ваньку-то? – Гришка сплюнул шелуху. – Кто ж Ваньку не знает. Это Ванька Ершов. Фёклин. Торговки, что картошкой торгует. Та, что немца ругала. Вылитый он, барин. Хоть сейчас на базар выпускай.

Стрешнев посмотрел на часы. Треснувшее стекло, стрелки в двух временах. Половина девятого.

– Где сейчас Ванька?

– Да на базаре, где ж ему быть. Мамке помогает. Я его только видел.

– Фрол Ильич! – позвал Стрешнев.

Гусёк обернулся, вынул изо рта трубку, и Стрешнев увидел по его лицу, что надзиратель понял всё прежде, чем он успел сказать.

Они почти бежали через площадь, насколько можно бежать по Сенной в рыночный час, и Гусёк, тяжело дыша, расталкивал телеги и людей уже без всякой деликатности. Картофельный ряд был в дальнем конце, у коновязи. Фёкла Ершова сидела на перевёрнутой корзине, подоткнув юбку, и ссыпала картошку в мешок покупателю, ругаясь на весь ряд из-за копейки. А рядом с ней, на мешках, болтая ногами в драных опорках, сидел мальчишка лет девяти, в картузе с заломом и в жилетке с одной пуговицей, и грыз морковку.

Стрешнев остановился так резко, что Гришка налетел на него сзади.

Мальчишка был цел. Мальчишка был жив, конопат и чумаз, и смотрел на подошедших с весёлым любопытством.

– Чего вам? – спросила Фёкла, увидев мундир Гуська, и лицо её мгновенно стало враждебным. – Я за место заплатила.

– Фёкла, – сказал Гусёк, отдуваясь, – ты сходи-ка глянь на немецкое окошко.

Она посмотрела на него, потом на Стрешнева, потом на сына. И Стрешнев увидел, как до неё доходит, медленно, как вода просачивается сквозь песок, и как кровь уходит из её обветренного красного лица.

– Ванька, – сказала она шёпотом. – Ванька, иди к мамке.

Глава 5. Вторая кукла

Фёкла Ершова не пошла смотреть на окно. Она схватила сына за шиворот, так что морковка вылетела у него из руки и укатилась под телегу, прижала к себе и стояла посреди картофельного ряда, огромная, красная, задыхающаяся, а Ванька вертелся у неё под рукой и обиженно ныл: «Ма-ам, ну чего ты, ма-ам». Покупатель, так и не получив свой мешок, попятился и исчез.

– Где? – спросила Фёкла хрипло. – Где он, ирод?

– Фёкла, ты погоди, – начал Гусёк.

– Где он?!

Она не стала ждать ответа. Сунула мешок с картошкой соседке, не глядя, и пошла через площадь, волоча Ваньку за руку, как волокут упирающуюся козу. Стрешнев, Гусёк и Гришка двинулись за ней. По рядам уже катилось: «Фёкла пошла… к немцу пошла… Ванькина кукла… опять кукла…» Люди бросали торговлю и шли следом, и, когда Фёкла добралась до угла Кривого переулка, за её спиной было уже человек сорок.

У витрины она остановилась.

Кукла сидела в правом углу, на месте, где раньше стоял барабанщик. Мальчишка ростом в локоть, в холщовых штанах и рубахе, в жилетке с одной-единственной медной пуговицей, в картузе, сдвинутом набок, так что козырёк смотрел вверх, а из-под него торчали рыжеватые вихры. Лицо у него было круглое, курносое, всё в мелких бурых веснушках, нарисованных, как понял Стрешнев, не краской, а чем-то вроде жжёного сахара, чтобы они чуть выступали над воском. Рот был растянут в ухмылке, и между передними зубами виднелась щель. В руке кукла держала морковку. Крошечную, вырезанную из дерева, выкрашенную в оранжевый, с зелёным хвостиком из шёлковой нитки.

Ванька, увидев куклу, перестал ныть. Он смотрел на неё, разинув рот, а потом сказал с восхищением:

– Ма-ам. Это ж я.

Фёкла завыла. Это не было похоже на плач. Это был низкий, звериный, утробный звук, от которого у Стрешнева мурашки побежали по спине, и толпа за её спиной разом отступила на шаг. А потом Фёкла отпустила Ваньку, развернулась к двери лавки и ударила в неё кулаком. Колокольчик над дверью задребезжал, жалобно и тонко.

– Открывай! – закричала она. – Открывай, нехристь! Открывай, кукольник! Выходи!

Дверь была заперта. Табличка «Закрыто» висела на месте. Было без четверти девять.

– Открывай! Я тебе глаза выцарапаю! Я тебе руки твои поганые повыдергаю! Выходи!

Гусёк шагнул к ней и взял за плечи. Она вырвалась и ударила в дверь снова, и стекло в двери треснуло. Толпа загудела. Кто-то крикнул: «Бей немца!», и крик подхватили, неуверенно, вразнобой.

Стрешнев встал между толпой и дверью. Он не думал, что делает. Просто встал, спиной к двери, лицом к людям, и поднял руку.

– Тихо! – сказал он. Голос его прозвучал неожиданно громко, резко, по-петербургски, так, как он когда-то говорил в судебной зале. – Я судебный следователь. Всякий, кто тронет эту дверь, пойдёт под суд за самоуправство. Всякий. Фрол Ильич, запомните лица.

Толпа притихла. Гусёк, отдуваясь, встал рядом с ним и демонстративно оглядел собравшихся, медленно, одного за другим, и под его взглядом люди начали отводить глаза.

– Фёкла, – сказал Стрешнев, повернувшись к торговке. – Ваш сын здесь. Он жив и здоров. Вы слышите меня? Он здесь, рядом с вами.

Фёкла смотрела на него невидящими глазами. Потом посмотрела на Ваньку. Ванька, испуганный теперь уже не на шутку, жался к её юбке.

– Он здесь, – повторил Стрешнев. – И я сделаю всё, чтобы он здесь и остался. Но для этого мне нужно, чтобы вы меня слушали. А не ломали двери.

За его спиной звякнул засов. Он обернулся. Дверь приоткрылась на ладонь, и в щели показалось бледное лицо Тихона.

– Ваше благородие, – прошептал подмастерье. – Эмиль Карлович нездоров. Он не может выйти. У него сердце. С ночи.

– Пустите меня.

Тихон помедлил, оглядел толпу, потом приоткрыл дверь шире, и Стрешнев проскользнул внутрь. Дверь захлопнулась за ним, и засов лёг на место.

В лавке было темно и душно. Печь не топили, но жар стоял прежний, застоявшийся. Тихон зажёг свечу. Его руки дрожали.

– Где он?

– Наверху. Лежит. Он ночью кончил куклу, ту, мальчика, и велел мне утром выставить. А потом ему стало худо. Задыхался. Я хотел бежать за доктором, а он не велел. Сказал, отлежится.

– Почему вы выставили куклу? Вы же знали, что случилось с прошлой.

Тихон посмотрел на него с каким-то жалким недоумением.

– Эмиль Карлович велел, ваше благородие. Он всегда велит. Я его ученик. Я не могу не послушать. – Он помолчал. – Я сказал ему. Сказал, что люди говорят. Он сказал: «Пусть говорят. Это ничего не меняет». Он так говорит всегда. Он не слушает.

Стрешнев поднялся по лестнице. Наверху был узкий коридор с тремя дверями. Средняя, обитая железными полосами, с амбарным замком, была заперта, как и в прошлый раз. Левая – открыта, за ней виднелась тесная каморка с узкой кроватью, сундуком и рукомойником: должно быть, комната Тихона. Правая вела в спальню хозяина.

Лаубе лежал на высокой деревянной кровати, укрытый до подбородка лоскутным одеялом. Лицо его было серым, губы синеватыми, дыхание – частым и неглубоким. Очки лежали на столике у изголовья, рядом с пузырьком тёмного стекла и стаканом воды. Он открыл глаза, когда Стрешнев вошёл, и долго смотрел на него, не узнавая.

– А, – сказал он наконец. – Следователь.

– Эмиль Карлович. В вашей витрине кукла мальчика Ивана Ершова. Его мать стоит у вашей двери. С ней половина Сенной.

– Я слышу, – сказал Лаубе. – Я слышал, как она кричит. – Он закрыл глаза. – Хорошо. Пусть кричит. Значит, он жив. Если бы его не было, она бы не кричала. Она бы стояла и молчала, как та, первая.

– Почему вы сделали эту куклу?

Лаубе долго не отвечал.

– Я его видел, – сказал он. – Он ел морковку. Он сидел на мешках и ел морковку, и смеялся, и у него щербатый зуб. Я не мог не сделать.

– Вы понимаете, что после того, что случилось с девочкой, люди думают, будто вы… – Стрешнев запнулся, подбирая слово, – будто вы отмечаете детей. Будто кукла – знак. Приговор.

Кукольник открыл глаза.

– А вы? – спросил он. – Вы что думаете?

– Я думаю, что вы поставили этого мальчика под удар. Если кто-то, кто угодно, крадёт детей, то вы только что показали ему, кого красть следующим.

Лаубе смотрел на него. Его губы шевельнулись, но он ничего не сказал. Потом медленно, с усилием, отвернулся к стене.

– Уходите, – сказал он. – Пожалуйста. Мне плохо.

Стрешнев постоял над ним ещё минуту. Потом взял со столика пузырёк, поднёс к свече. На наклейке было написано аккуратным врачебным почерком: «Г-ну Лаубе. Настойка ландыша

с валерианой. По 20 кап. при сердцебиении. Д-р Мерцалов». Он поставил пузырёк на место и вышел.

Внизу Тихон ждал его у лестницы.

– Снимите куклу, – сказал Стрешнев. – Сейчас же.

– Эмиль Карлович…

– Я беру это на себя. Снимите и отдайте мне. Это вещественное доказательство.

Тихон поколебался, потом пошёл к витрине, открыл заднюю дверцу и осторожно, двумя руками, вынул куклу-Ваньку. Протянул Стрешневу. Кукла была лёгкая и тёплая от солнца, которое на минуту пробилось сквозь туман и легло на стекло. Стрешнев завернул её в свой шарф, сунул под мышку и вышел через дверь на площадь.

Толпа стояла. Фёкла сидела на ступенях лавки, обхватив Ваньку обеими руками, и раскачивалась. Стрешнев показал толпе свёрток.

– Куклы больше нет в окне, – сказал он. – Она у меня. Расходитесь.

Медленно, неохотно, с ропотом толпа начала рассасываться. Через десять минут у лавки остались только Фёкла с Ванькой, Гусёк, Гришка и двое городовых, которых надзиратель вызвал из части.

– Фрол Ильич, – сказал Стрешнев. – Где живёт Ершова?

– В Глухом переулке, ваше благородие. Дом Пестова, во дворе, флигелёк. Одна комната.

– Сколько у неё детей?

– Ванька один. Муж в бегах.

– Мне нужен человек у её двери. Днём и ночью. Пока я не скажу снять.

Гусёк почесал затылок.

– Это ж двое на смену, ваше благородие. У меня…

– Шесть человек, из которых двое пьют, – сказал Стрешнев. – Я помню. Поставьте непьющих.

Гусёк посмотрел на него и вдруг усмехнулся.

– Слушаюсь. Поставлю Рябова и Косточкина. Они не пьют. Рябов потому, что язва, а Косточкин потому, что старовер.

Фёкла смотрела на них снизу, со ступеней. Её лицо было мокрым, но она больше не выла.

– Барин, – сказала она. – А ты его, немца, арестуешь?

– Пока нет.

– Почему?

– Потому что пока я не знаю, что он сделал.

– Он куклу сделал! Моего Ваньку!

– Это не преступление, Фёкла. Рисовать и делать кукол – не преступление. Преступление – увести ребёнка. А этого я пока ему доказать не могу. Если я его арестую без доказательств и окажется, что он ни при чём, тот, кто уводит детей, останется на свободе. Понимаете?

Она не понимала. Он видел, что не понимала. Она смотрела на него так, как смотрят на барина, который говорит красиво и непонятно, а потом уезжает в карете.

– Ваньку не отпускайте от себя, – сказал он. – Ни на шаг. Ночью запирайте дверь и ставни. Никому не открывайте. Никому. Даже если скажут, что от доктора, от батюшки, от полиции. Только мне, Фролу Ильичу и тому, кто будет стоять у двери. Если кто-то станет звать Ваньку, угощать, обещать что-нибудь, – сразу говорите городовому. Слышите?

– Слышу, – сказала Фёкла глухо.

День прошёл в мелкой, раздражающей суете. Стрешнев отнёс куклу в часть, составил протокол, описал её подробно, вплоть до числа веснушек: их оказалось сорок три. Он сидел над этой куклой долго, разглядывая её через лупу, которую одолжил у писаря, и не нашёл ничего, кроме мастерства, почти пугающего в своей точности. Лаубе не только видел мальчишку – он видел его так, как никто, наверное, его не видел, даже родная мать. Кукла улыбалась щербатым

ртом, а глаза у неё были чуть грустные, и Стрешнев подумал, что это, должно быть, правда: что этот весёлый рыжий Ванька на самом деле немного грустный, и что кукольник это заметил.

Вечером он не пошёл домой. Он сказал Гуську, что останется на Сенной, и надзиратель посмотрел на него с недоумением, но ничего не сказал, а только дал свою старую шинель и посоветовал сесть в трактире «Якорь» у окна, откуда видна и лавка немца, и вход в Глухой переулок.

«Якорь» был низкий, прокуренный, шумный трактир, где пили грузчики с пристани, извозчики и мелкие торговцы. Стрешнев сел в углу, у мутного окна, в чужой шинели, заказал чаю и баранок и стал смотреть. Никто не обращал на него внимания. Половой поставил перед ним пузатый чайник и тут же забыл о нём.

Темнело рано. В шесть часов на Сенной зажгли керосиновые фонари – четыре на всю площадь. В лавке Лаубе за витриной теплился свет, слабый, жёлтый, будто от одной свечи. В половине восьмого из лавки вышел Тихон, огляделся, поднял воротник и быстро пошёл через площадь к Крутому взвозу, наверх. Стрешнев проводил его взглядом и записал время. Через сорок минут на площадь въехала карета: тёмная, лакированная, на высоких колёсах, запряжённая парой серых, с гербом на дверце, которого в темноте было не разобрать. Колёса её шли мягко, почти бесшумно – на резиновом ходу. Карета остановилась у лавки. Из неё вышли Тихон и крупный человек с саквояжем, в котором Стрешнев узнал доктора Мерцалова. Тихон отпер дверь, и они вошли. Карета осталась ждать. Кучер, закутанный в тулуп, дремал на козлах.

Стрешнев записал и это. «8.10. Карета Мерцалова. Резиновый ход. Тихон привёз доктора. Лаубе плохо?»

Время шло. Трактир гудел. Кто-то пел, кто-то дрался в углу, кого-то выволокли за шиворот на улицу. Стрешнев пил остывший чай и смотрел в окно. В десять у ворот дома Пестова в Глухом переулке, едва видных отсюда, сменился городовой: пришёл старовер Косточкин, ушёл Рябов. В одиннадцать в лавке Лаубе погас свет внизу и загорелся наверху, в окне спальни. Карета всё стояла. Кучер всё дремал.

В половине двенадцатого половой сказал, что трактир закрывается. Стрешнев расплатился и вышел. Ночь была тёмная, безлунная, туман снова поднимался с реки, и фонари на площади превратились в расплывчатые жёлтые пятна. Он перешёл через площадь, держась в тени, и встал в подворотне напротив лавки, откуда было видно и окно спальни, и карету.

Он стоял там долго. Ноги у него замёрзли, потом онемели. Часы на каланче пробили полночь, потом час. В час с четвертью свет в окне спальни погас. Через несколько минут дверь лавки открылась, вышел доктор, за ним Тихон с фонарём. Они о чём-то тихо поговорили на крыльце – Стрешнев не слышал слов, только бархатный низкий голос доктора и робкое бормотание подмастерья. Доктор сел в карету, и карета неслышно тронулась, покатила по площади к Крутому взвозу и растворилась в тумане. Тихон постоял на крыльце, глядя ей вслед, потом ушёл в дом. Засов лёг.

Стрешнев вышел из подворотни, разминая ноги, и пошёл к Глухому переулку. У ворот дома Пестова, прислонившись к столбу, стоял городовой Косточкин – длиннобородый, суровый, в шинели до пят.

– Всё тихо? – спросил Стрешнев.

– Тихо, ваше благородие, – прогудел старовер. – Никто не входил, никто не выходил. Ставни заперты. Свет погасили в десятом часу.

– Хорошо. Стойте.

Он пошёл домой, через весь Нижний город, наверх, по Крутому взвозу, в тумане, который становился всё гуще. Добравшись до Почтовой, он не раздеваясь лёг на кровать и сразу уснул – впервые за много месяцев – тяжело, без снов.

Разбудил его стук в дверь. Было ещё темно. Евдокия Марковна стояла на пороге со свечой, в чепце, с испуганным лицом, а за её спиной, на лестнице, топтался Гришка Клёст, мок-

рый, запыхавшийся, с таким лицом, что Стрешнев понял всё прежде, чем мальчишка открыл рот.

– Барин, – сказал Гришка. – Ваньки нету.

Стрешнев сел на кровати. Посмотрел на часы. Пять утра.

– Как нету? У двери стоял человек. Ставни были заперты.

– Ставни заперты, барин. А Ваньки нету. Фёкла проснулась – а его на лавке нету. Только окошко в сенях открыто. Маленькое такое окошко, под потолком. Туда кошка разве пролезет. Или ребёнок. А на окошке… – Гришка сглотнул. – На окошке бумажка розовая. Леденцовая.

Стрешнев уже натягивал сапоги.

Во флигеле дома Пестова горел свет, и дверь была распахнута настежь. Во дворе стояли соседи, полуодетые, в накинутых на плечи тулупах, и молчали. Косточкин стоял у ворот, белый как мел, и, увидев Стрешнева, снял фуражку и перекрестился двумя перстами.

– Не уберёг, ваше благородие, – прогудел он. – Вот вам крест, глаз не смыкал. Никто в ворота не входил. Никто.

Внутри флигель был одна-единственная комната с печью и сенями. Фёкла сидела на полу у пустой лавки, где спал сын, и держала в руках его картуз. Она не плакала и не кричала. Она смотрела на картуз. Стрешнев прошёл мимо неё в сени.

Окошко было под самым потолком, в задней стене, выходившей не во двор, а на пустырь за домом, заросший бурьяном и заваленный хламом. Оно было размером с печную заслонку, без рамы, затянутое тряпкой, которую теперь кто-то отодвинул. Под окошком стояла кадка с водой, а на кадке – перевёрнутое ведро. Ступенька. Чтобы ребёнку было удобно вылезти.

Стрешнев встал на кадку, придерживаясь за стену, и выглянул. Снаружи под окном была поленница, высокая, ровная, по ней можно было спуститься на землю, как по лестнице. Бурьян под поленницей был примят. Дальше, через пустырь, к забору, тянулась едва заметная тропка, и туман уже начинал её съедать.

На подоконнике, придавленная щепкой, лежала розовая бумажка. Он взял её осторожно, кончиками пальцев. «Кондитерская Пеклера. Дворянская ул.». Бумажка была сухая. Значит, положили её недавно, туман не успел её промочить. Или – он вдруг подумал – её не клали. Её оставил сам Ванька, развернув леденец, который ему подали в окошко.

– Фёкла, – сказал он, вернувшись в комнату и присев перед ней. – Вы слышали ночью что-нибудь? Голос? Стук? Пение?

Она подняла на него глаза.

– Я спала, – сказала она. – Барин, я спала. Я ж весь день на базаре. Я как убитая спала. Я его к стенке положила, а сама с краю. Чтоб он не перелез. А он перелез.

– Он говорил вам вечером что-нибудь? Про кого-нибудь? Про тётю, про угощение?

Фёкла долго молчала, глядя на картуз.

– Говорил, – сказала она наконец. – Говорил, что кукла, мол, его, теперь он важный. Что раз его в окно поставили, то его теперь в хороший дом возьмут. Я ему подзатыльник дала, чтоб не болтал. – Её губы задрожали. – Я ему подзатыльник дала. Последнее, что я ему дала. Подзатыльник.

– Кто ему сказал про хороший дом?

– Не знаю. Не сказал. – Она прижала картуз к лицу. – Не сказал, барин. Я не спросила.

Стрешнев выпрямился. В открытую дверь было видно, как над Сенной медленно, неохотно светает. Где-то там, за туманом, на углу Кривого переулка, стояла тёмная лавка с пустым местом в витрине. А в его комнате в части, на столе, завёрнутая в его шарф, лежала кукла с сорока тремя веснушками и щербатой улыбкой, которую он снял с витрины, чтобы защитить мальчика, и не защитил.

Глава 6. Требование полицмейстера

Полицмейстер Ковыльска Кирилл Фомич Гаранин принимал в собственном кабинете на втором этаже Управления, в Верхнем городе, на Соборной площади, и кабинет этот был обставлен так, будто его хозяин собирался провести в нём остаток жизни и умереть за письменным столом. Ковёр, бархатные шторы, бюст государя на мраморной колонке, кожаные кресла, шкаф с книгами в одинаковых переплётах, которые, судя по всему, никогда не открывались, и огромный, во всю стену, план губернского города, расчерченный цветными карандашами на участки. Сенная часть на плане была закрашена бурым, и Стрешнев, войдя, сразу отметил это: все остальные части были голубые, зелёные, жёлтые, а Сенная – цвета грязи.

Гаранин встал ему навстречу из-за стола. Это был человек лет пятидесяти пяти, сухой, подтянутый, с прямой спиной кавалериста, с седыми бакенбардами, соединёнными с усами, и с подбородком, выбритым до синевы. Мундир сидел на нём безупречно. Голос был отрывистый, командный, но не грубый.

– Платон Андреевич. Садитесь. Чаю? Нет? Как угодно. – Он сел сам и сложил руки на столе. – Буду краток. Вы знаете, зачем я вас пригласил.

– Догадываюсь.

– Двое детей за неделю. Двое. Обоих, как утверждают, кукольник с Сенной выставил в своём окне накануне исчезновения. Вчера мальчика, сына торговки, увели из запертого дома, при городовом у ворот. Город гудит, Платон Андреевич. Не Сенная – город. Сегодня утром ко мне приезжал предводитель дворянства. Ко мне приезжал городской голова. Губернатор, – Гаранин сделал паузу, – губернатор интересовался. Её превосходительство Ангелина Сергеевна, попечительница Общества призрения бедных детей, крайне обеспокоена. Крайне. А вы сидите в трактире и считаете веснушки на кукле.

Он сказал это без улыбки. Стрешнев промолчал.

– Почему немец не арестован?

– Потому что нет оснований.

– Нет оснований? – Гаранин поднял брови. – Он рисует детей. Он делает с них кукол. Дети пропадают. Он живёт один, с подмастерьем. У него в доме, мне докладывают, есть запертая комната, куда никто не допускается. У него, мне докладывают, двенадцать лет назад при невыясненных обстоятельствах утонула дочь. Он – иностранец, хоть и русский подданный. Что вам ещё нужно? Чтобы он вышел на Сенную площадь с ребёнком в мешке?

– Мне нужно, чтобы он сделал что-нибудь из того, в чём его можно обвинить, – сказал Стрешнев. – Рисовать детей не запрещено законом. Делать кукол не запрещено. Запирать комнату не запрещено. Утрата дочери – не преступление, Кирилл Фомич. Если вы знаете что-либо, что говорит о его причастности к её смерти, я прошу сообщить мне это официально.

Гаранин побарабанил пальцами по столу.

– Не знаю, – сказал он. – Дело было закрыто как несчастный случай. Девочка упала с мостков в половодье. Но говорили разное.

– Говорят всегда разное.

– Платон Андреевич. – Полицмейстер наклонился вперёд. – Я буду с вами откровенен. Я знаю, почему вы здесь. Знаю про ваше петербургское дело. Про часовщика. Мне жаль. Искренне жаль. С каждым может случиться. Но это не значит, что теперь вы должны бояться каждой тени. Следователь, который боится арестовать, – не следователь. Если немец невиновен, это выяснится. Суд выяснит. А пока он под замком, дети на Сенной будут в безопасности. И город успокоится. Понимаете?

Стрешнев смотрел на него. За окном, внизу, на Соборной площади, звонили к обедне, и звон был густой, медный, торжественный, совсем не похожий на тонкий голос колокольчика над дверью Лаубе.

– Часовщик Сизов, – сказал он медленно, – тоже был под замком. Пока он был под замком, город был спокоен. Через полгода в той же части Петербурга убили вторую старуху-процентщицу, тем же способом. Город снова перестал быть спокоен. Но Сизов был под замком, и никто не связал. Сизов умер в остроге от чахотки, через год и два месяца после ареста. Он писал прошения. Я их читал. Я их не слушал, потому что всё сходилось. Его часы нашли у убитой. Его инициалы на часах. Его видели у её дома. У него был долг ей. Всё сходилось, Кирилл Фомич. А потом её племянник напился в кабаке на Лиговке и рассказал, как всё было, в подробностях, которых не знал никто, кроме убийцы. Часы Сизов чинил ей за неделю до того. Инициалы были мастерские, он клеймил ими свою работу. У её дома он был, потому что относил ей часы. А долг – три рубля – она ему простила, потому что он был хороший мастер.

Он замолчал. В кабинете было очень тихо. Гаранин смотрел на него без выражения.

– Всё сходилось, – повторил Стрешнев. – Как и сейчас. Я не хочу, чтобы сходилось. Я хочу знать.

– А пока вы хотите знать, пропадут ещё дети, – сказал Гаранин.

– Пропадут, – согласился Стрешнев. – Если я арестую Лаубе, а Лаубе ни при чём, они будут пропадать дальше, только уже без кукол. И никто не будет знать почему.

Полицмейстер откинулся в кресле. Долго молчал. Потом сказал, уже другим тоном, ровным и холодным:

– Три дня. У вас есть три дня, Платон Андреевич. Если через три дня вы не предъявите мне другого подозреваемого, я буду вынужден обратиться к прокурору с просьбой передать дело другому следователю. Который не будет бояться. Это не угроза. Это забота о городе.

– Я понял вас.

– И ещё. – Гаранин взял со стола какую-то бумагу и тут же положил обратно, не глядя. – Её превосходительство передала, что Общество попечения готово оказать следствию всяческое содействие. Доктор Мерцалов, который состоит в правлении Общества, будет у вас сегодня же. Он врач немца, он может многое рассказать. Прошу вас принять его со всем вниманием. Аристарх Львович – человек, которого в этом городе уважают все. Все. Вы понимаете меня?

– Понимаю.

– Тогда не смею задерживать.

Стрешнев вышел на Соборную площадь. Солнце стояло низко, бледное, будто вырезанное из папиросной бумаги. Нарядная публика выходила из собора: дамы в мехах, офицеры, чиновники, гимназисты. Всё было чисто, светло, благопристойно. Он постоял на ступенях Управления, глядя на этот другой, верхний, город, и подумал, что отсюда Сенной не видно совсем. Её закрывал собор.

Мерцалов приехал в часть в третьем часу. Стрешнев услышал его ещё на лестнице: бархатный голос, раскатистый смех, шутливый разговор с писарем, который вдруг стал услужлив и подобострастен, как никогда при Стрешневе. Доктор вошёл, пригнувшись в низких дверях, в распахнутой шубе, румяный с мороза, и сразу заполнил собой обе тесные комнаты.

– Платон Андреевич! Не помешал? – Он снял шапку, бросил её на подоконник. – Меня прислал наш строгий Кирилл Фомич. Сказал: «Поезжай, Аристарх, помоги новому человеку, он тут ещё ничего не знает». Хотя, по-моему, вы знаете уже больше, чем вся наша полиция за год. – Он сел на стул, который заскрипел под ним, и посерьёзнел. – Ужасная ночь. Ужасная. Я слышал про мальчика. Я ведь был там, на Сенной, почти до утра.

– Я знаю, – сказал Стрешнев. – Я видел вашу карету.

Доктор поднял брови и вдруг рассмеялся – искренне, весело.

– Вы следили за мной? Ну и ну! Вот это следователь! Нет, правда, я восхищён. – Он покачал головой. – Да, я был у Эмиля Карловича. Его мальчишка, Тихон, прибежал ко мне вечером, перепуганный, сказал, что хозяину совсем худо. Я поехал. Застал его в очень дурном состоянии, Платон Андреевич. Приступ сердечной астмы. Он задыхался. Пульс нитевидный. Бред. Он говорил с кем-то по-немецки, звал дочь. Я дал ему камфару, потом опий, чтобы снять возбуждение. Сидел при нём, пока не уснул. Это было около часу ночи. Потом уехал. Если бы я не приехал, он мог бы умереть.

– Около часу ночи он уснул.

– Около часу. Может, в начале второго. И я вам ручаюсь, Платон Андреевич, что после той дозы, что я ему дал, он не мог встать с постели до утра. Физически не мог. Он и сейчас, наверное, ещё спит.

Стрешнев кивнул и записал: «Мерцалов: Лаубе в бреду с 8 до 1 ночи, опий. Не мог встать до утра».

– Значит, сам он ребёнка увести не мог.

– Сам – нет, – сказал Мерцалов.

Он сказал это просто, без нажима, но слово «сам» повисло в воздухе.

– Вы думаете, у него есть сообщник?

Доктор развёл руками.

– Я ничего не думаю, Платон Андреевич. Я врач. Я говорю только то, что видел. Видел я больного старика, который не мог встать. А мальчик, Тихон, после моего отъезда оставался в доме один. Что он делал потом – я не знаю. Я не хочу ничего сказать дурного о мальчишке. Он услужлив, хорошо воспитан, предан хозяину. Даже, пожалуй, слишком предан. – Он помолчал. – Знаете, есть такие преданные слуги, которые угадывают желания хозяина раньше, чем хозяин их выскажет. И исполняют. Даже те, которые хозяин никогда бы не высказал.

Стрешнев смотрел на него. Доктор встретил его взгляд спокойно, открыто, с лёгкой печалью.

– Это всего лишь мысль, – сказал Мерцалов. – Не более. Я, может быть, совсем не прав. Вы спросите его сами. Вы это умеете лучше меня.

– Спрошу.

– И ещё одно. – Доктор полез во внутренний карман шубы, достал сложенный лист бумаги. – Её превосходительство просила передать вам. Это список детей, которых Общество попечения взяло на учёт летом этого года, при обследовании ночлежных домов Сенной. Сироты и полусироты. Мы планировали забрать часть из них в приют, по мере освобождения мест. Здесь их имена, возраст, приметы. Может быть, вам пригодится. Если кто-то из них пропал – вы будете знать.

Стрешнев развернул лист. Это был аккуратно переписанный перечень, человек на сорок, с пометками. Алёшки-папиросника в нём не было.

– Здесь нет Алексея, мальчика из ночлежки, торговавшего папиросами.

– Нет? – Мерцалов взял лист, просмотрел, нахмурился. – Странно. Его должны были записать. Может быть, его в тот день не было в доме. Или он назвался другим именем. Они ведь часто так делают, эти мальчишки, – прячутся от всякой записи. Боятся, что их заберут в приют силой. – Он вернул лист. – Приют они считают тюрьмой. Бедные дети. Если бы они знали, как у нас хорошо.

– Я хотел бы посмотреть ваш приют, Аристарх Львович.

– Ради бога! – доктор просиял. – В любой день. Предупредите только накануне, чтобы мы успели подготовиться. У нас там образцовый порядок, но я люблю, когда гостей встречают как следует. Дети споют вам. У нас прекрасный хор.

Он поднялся, взял шапку, протянул руку.

– Не отчаивайтесь, Платон Андреевич. Вы делаете больше, чем кто-либо. И помните: если что-нибудь понадобится – я ваш.

Когда он ушёл, в комнатах ещё долго пахло его одеколоном, дорогим, с нотой бергамота, и мокрым мехом. Стрешнев открыл форточку. Потом сел за стол и долго смотрел на две записи в своей книжке, сделанные с промежутком в три часа: «Гаранин: три дня» и «Мерцалов: сам – нет».

Вечером он пошёл к Лаубе.

Лавка была закрыта. На стекле двери, треснувшем утром от кулака Фёклы, кто-то мелом нарисовал крест, а под ним – корявое слово «ИРОД». Стрешнев постучал. Открыл Тихон. Подмастерье был бледен, глаза его были красны, как будто он не спал или плакал.

– Эмиль Карлович спит, ваше благородие. Доктор велел не будить.

– Мне не нужен Эмиль Карлович. Мне нужны вы.

Тихон отступил на шаг.

– Я?

– Где вы были этой ночью после того, как доктор уехал? С часу и до пяти утра?

– Здесь, – сказал Тихон. – Спал. У себя. Наверху.

– Кто может это подтвердить?

Подмастерье молчал. Его пальцы теребили манжет.

– Никто, ваше благородие, – сказал он наконец едва слышно. – Эмиль Карлович спал. Больше никого нет.

– В субботу, когда пропала девочка, вы были у сестры в Мокрой слободке. Как зовут вашу сестру?

– Аграфена. Аграфена Зотова. Она швея. Живёт у Тимохиных, в Мокрой слободке, во втором доме от часовни.

Стрешнев записал. Тихон следил за его карандашом, как кролик за змеёй.

– Вы боитесь меня, Тихон?

– Нет, ваше благородие. – Подмастерье поднял глаза. – Я боюсь за Эмиля Карловича. Они его убьют. Те, на площади. Вы видели, что на двери написали? Это не первый раз. Ночью камень в окно бросили, наверху. Он не проснулся. Я подобрал. – Он полез в карман фартука и достал булыжник, обёрнутый бумагой. – Вот.

Стрешнев развернул бумагу. На ней печатными буквами, неумело, было выведено: «КУКОЛЬНИК ВЕРНИ ДЕТЕЙ ИЛИ СГОРИШЬ».

– Он ни в чём не виноват, ваше благородие, – прошептал Тихон. – Он только рисует. Он больше ничего не умеет.

Стрешнев сложил записку и спрятал её. Он смотрел на подмастерье – на его узкое бледное лицо, на дрожащие пальцы, на красные глаза – и не мог понять, что видит: страх преданного слуги за хозяина или страх человека, который знает больше, чем говорит. Доктор сказал: «Даже слишком предан». Гаранин сказал: «Три дня».

– Заприте дверь, Тихон, – сказал он. – И никого не впускайте до утра.

Он ушёл. На площади было темно и пусто, только в окне «Якоря» горел свет и слышалась гармонь. Он шёл, и за ним, в чёрных стёклах витрины, провожали его взглядом куклы, и ему казалось, что среди них есть пустые места – там, где раньше сидели девочка в синем платке и мальчик с морковкой, – и что пустые места тоже смотрят.

Утром он поехал в Мокрую слободку. Слободка лежала за Сумой, на низком берегу, который каждую весну заливало, и потому дома здесь стояли на сваях, а между домами вместо улиц тянулись деревянные мостки, скользкие от сырости. Часовня, о которой говорил Тихон, оказалась бревенчатой, кривой, с почерневшим крестом. Второй дом от неё принадлежал Тимохиным, и в нём, в задней комнате с одним окном, жила швея Аграфена Зотова.

Она была старше брата лет на пять, такая же светловолосая и узколицая, но без его робости: в её лице была усталая жёсткость женщины, которая рано осталась одна и привыкла рассчитывать только на свои руки. Руки эти были исколоты иглой до мозолей. На столе у окна лежало шитьё – чья-то белая кофточка с кружевом, слишком тонкая для Мокрой слободки.

– Тиша? – переспросила она, когда Стрешнев назвался и объяснил, зачем пришёл. – В субботу? Был. Пришёл после обеда.

– До какого часа он у вас был?

Аграфена помедлила, и Стрешнев увидел, что она соображает – не вспоминает, а именно соображает, что выгоднее сказать.

– До ночи, – сказала она.

– До какого часа?

– Не помню я. До ночи. Часов у меня нету.

– Аграфена, – сказал он мягко, – ваш брат, может быть, ни в чём не виноват. Но если вы мне сейчас солжёте, а потом это откроется, я буду думать, что виноват. Понимаете?

Она долго смотрела на него. Потом отвернулась к окну.

– Пришёл после обеда, – сказала она глухо. – Посидел с час. Денег просил. Я не дала. Нету у меня. Он ушёл. Злой ушёл. Часу в пятом.

– Зачем ему деньги?

– А мне почём знать? – Она резко обернулась. – Вы думаете, он мне говорит? Он с весны сам не свой. Связался с кем-то в «Якоре». Играют они там, в задней комнате, по ночам. В банчок. Я его просила: Тиша, брось, ведь у тебя ремесло в руках, хозяин хороший, чего тебе. А он: «Ты не понимаешь, Груша, я скоро всё отыграю, я скоро сам лавку открою». Лавку! – она горько засмеялась. – Он мне в сентябре сказал, что должен. Много. Я спросила сколько – не сказал. Сказал: «Не бойся, Груша, мне помогут. Есть добрые люди».

– Какие добрые люди?

– Не сказал.

Стрешнев записал: «Тихон. Ушёл от сестры в 5-м часу в субботу (не до ночи). Играет в «Якоре». Долг, крупный. «Добрые люди помогут»».

– Аграфена, вы шьёте для господ?

Она кивнула на кофточку.

– Шью. Кто даст.

– Для кого эта?

– Для приюта. Для докторского. На Монастырской. Для девочек, на праздник. Мне сестра оттуда заказ носит. Двенадцать штук, по сорок копеек.

– Какая сестра?

– Ну, сестра. Милосердия. Из приюта. Пожилая такая, в сером. Строгая. Секлетея её зовут.

Стрешнев медленно закрыл книжку.

– Давно вы для них шьёте?

– С лета. Это Тиша меня свёл. Он там кого-то знает.

Когда он вышел на мостки, над слободкой висел туман, и река за домами была не видна, только слышна – тяжёлое, медленное течение, плеск у свай, далёкий гудок буксира. Он стоял на скользких досках и думал о том, что за одну ночь, за одно утро нить, которую он держал, раздвоилась, расплелась на несколько, и каждая тянула в свою сторону. Кукольник, который рисует. Подмастерье, который должен. Доктор, который лечит. Сестра в сером, которая носит заказы. «Есть добрые люди». И три дня, из которых один уже прошёл.

Он пошёл назад, к перевозу, не торопясь, хотя торопиться было надо. На середине мостков он остановился и обернулся. В окне задней комнаты дома Тимохиных стояла Аграфена

Зотова и смотрела ему вслед, прижимая к груди белую кофточку с кружевом, как прижимают к себе ребёнка.

Глава 7. Обыск

На третий день, как и было обещано, из Управления пришла бумага. Её принёс курьер в шинели с иголочки, положил на стол перед Стрешневым и встал у двери навытяжку, ожидая ответа. Бумага была короткая. Полицмейстер Ковыльска «во исполнение долга по охранению общественного спокойствия» доводил до сведения судебного следователя второго участка, что в полицейское управление поступили сведения от «заслуживающего доверия лица» о том, что в доме мещанина Лаубе, в подвальном помещении, хранятся вещи, принадлежащие пропавшим малолетним. И просил безотлагательно произвести обыск. Внизу, другим почерком, была приписка: «Буду лично. Гаранин».

– Какое лицо? – спросил Стрешнев у курьера.

– Не могу знать, ваше благородие.

– Письменный донос есть?

– Не могу знать. Велено передать, что его высокоблагородие будет у лавки в одиннадцать.

Стрешнев посмотрел на часы. Было без четверти десять. Он мог отказаться. Формально обыск назначал он, а не полицмейстер, и никакой донос «заслуживающего доверия лица», не представленный следствию, не обязывал его ни к чему. Он мог отказаться, и тогда завтра дело передали бы другому следователю, и тот провёл бы обыск без него, и он никогда не узнал бы, что там, в подвале, нашли и как.

– Передайте, что я буду, – сказал он.

Он послал за Гуськом и за понятыми. Понятых Гусёк привёл через двадцать минут: дворника из соседнего дома, пожилого татарина с невозмутимым лицом, и отставного писаря консистории, тощего старика в порыжевшем сюртуке, который, как выяснилось, промышлял тем, что за гривенник был понятым при любых полицейских действиях на Сенной и знал процедуру лучше любого пристава. Гришку Стрешнев с собой не взял, но знал, что мальчишка всё равно будет где-то рядом.

К одиннадцати у лавки уже стояла толпа. Не такая, как три дня назад, – тише, плотнее, злее. Люди не кричали. Они ждали. Карета полицмейстера, чёрная, с фонарями, стояла у края площади, и сам Гаранин, в шинели с бобровым воротником, прохаживался перед витриной, заложив руки за спину. Рядом с ним стоял пристав Верхней части, молодой, с щёгольскими усиками, и четверо городовых, не Гуськовых, чужих, рослых, в новой форме.

– Платон Андреевич, – сказал Гаранин, увидев его. – Точность – вежливость королей. Начинайте.

Дверь открыл Тихон. Увидев полицмейстера, городовых и толпу, он побелел так, что Стрешнев подумал, не упадёт ли он в обморок.

– Где хозяин? – спросил Стрешнев.

– Наверху, ваше благородие. Он встал сегодня. Первый раз. Сидит.

– Позовите. И принесите ключи от всех помещений. От подвала. И от комнаты на втором этаже.

Тихон исчез за занавеской. Было слышно, как он поднимается по лестнице, как что-то говорит, торопливо, тихо. Потом – шаги, медленные, тяжёлые. Лаубе спустился, держась за перила. Он был одет, в сюртуке, в чистой рубашке, даже в галстуке, будто собрался в гости. Лицо его было серое, осунувшееся, но очки сидели ровно, а глаза за ними смотрели спокойно.

– Господин следователь, – сказал он. – Вы пришли с бумагой. И с понятыми. Как я просил.

– Эмиль Карлович, у меня постановление об обыске вашего дома. Вам будет предложено присутствовать.

– Я присутствую, – сказал Лаубе. Он посмотрел на Гаранина. – Господин полицмейстер. Давно не виделись. Вы покупали у меня солдатиков. Для сына. Лет десять тому.

Гаранин чуть дёрнул щекой.

– Не отвлекайтесь, Лаубе.

– Я не отвлекаюсь, – сказал кукольник. – Я помню всех, кто у меня покупал.

Обыск начали с лавки. Стрешнев делал всё сам, медленно, тщательно, по порядку: полка за полкой, ящик за ящиком. Писарь консистории диктовал вслух, что найдено, и Стрешнев записывал в протокол. Куклы. Головы. Ткани. Краски. Банки с клеем, с воском, с лаком. Инструменты – ножички, резцы, кисти, крохотные пинцеты, щипчики. Книги – немецкие, по анатомии, по живописи, по механике. Ничего. Гаранин стоял у двери и смотрел, и с каждой минутой его лицо становилось всё нетерпеливее.

– Подвал, – сказал он наконец. – Платон Андреевич, подвал.

Вход в подвал был в задней комнате, в мастерской, под полом, – дощатая крышка с кольцом. Тихон поднял её. Вниз вела деревянная лестница, крутая, почти отвесная. Оттуда пахнуло сыростью, землёй и чем-то кислым, похожим на квашеную капусту. Гусёк зажёг фонарь и спустился первым, кряхтя. Стрешнев – за ним. Понятые остались наверху, у люка, заглядывая вниз. Гаранин, к удивлению Стрешнева, спустился тоже, придерживая полы шинели.

Подвал был невелик: сажени три на четыре, низкий, с кирпичным сводом. По стенам – полки, на полках – банки с соленьями, ящики, мешки. В углу – бочка с капустой. Дальше – дрова, сложенные поленницей до потолка. Пол земляной, утоптанный, и на нём, у поленницы, – слой пыли и древесной трухи.

– Ищите, – сказал Гаранин.

Городовые полезли в ящики. Гусёк светил фонарём. Стрешнев стоял посредине и смотрел. Ничего не трогал. Смотрел.

– Здесь! – крикнул вдруг один из чужих городовых, рослый, рыжеусый. Он стоял у поленницы, и из-за поленницы, из щели между дровами и стеной, тащил что-то, звякающее, жестяное.

Это было ведро. Небольшое, жестяное, с гнутой ручкой.

Наверху, у люка, понятой-писарь ахнул. Гаранин шагнул вперёд и взял ведро из рук городового. Поднял его к фонарю. Посмотрел внутрь.

– Платон Андреевич, – сказал он негромко. – Взгляните.

На дне ведра лежал платок. Синий, с белым горохом.

Стрешнев не взял ведро. Он подошёл к поленнице и посмотрел на щель, откуда его вытащили. Потом на пол перед поленницей. Потом снова на ведро в руках полицмейстера. Гусёк поднял фонарь повыше, и в его свете стало видно то, что Стрешнев заметил с первого взгляда: на полу у поленницы лежала пыль. Ровным, нетронутым слоем, мягким, как бархат, с мелкой трухой. Никто не подходил к этой поленнице неделями. Может быть, месяцами. А ведро было чистое. Не новое – помятое, с облупившейся местами краской, – но чистое, без единой пылинки. И платок на дне был сухой, свежий, сложенный аккуратным квадратом, будто его только что вынули из комода.

– Фрол Ильич, – сказал Стрешнев. – Посветите на пол. Вот сюда. Ближе.

Гусёк посветил. Пыль. Ни следа.

– Кирилл Фомич, – сказал Стрешнев, – прошу вас обратить внимание. Пол перед поленницей не тронут. Если бы ведро положили сюда неделю назад, остались бы следы. Ведро чистое, а в подвале всё покрыто пылью. Платок сухой, а здесь сыро так, что соль в банках отсырела. Его положили недавно. Очень недавно. Может быть, сегодня.

– Кто? – спросил Гаранин.

– Не знаю. Тот, кто знал, что вы придёте с обыском и будете искать именно в подвале. «Заслуживающее доверия лицо».

Полицмейстер смотрел на него долго, не мигая. Потом медленно опустил ведро.

– Вы хотите сказать, Платон Андреевич, что я подбросил это ведро?

– Я хочу сказать, что его подбросили. И что «заслуживающее доверия лицо» знало, где его найти. Я требую сообщить мне имя этого лица.

– Требуете?

– Как следователь, ведущий дело. Да.

Наверху, у люка, понятые затаили дыхание. Гусёк опустил фонарь. В подвале стало сумрачно, и лица всех троих ушли в тень.

– Это ведро девочки, – сказал Гаранин наконец, ровно, очень спокойно. – Мать опознает. Это платок девочки. Мать опознает. Они найдены в подвале дома Лаубе в присутствии понятых, судебного следователя и полицмейстера. Это факт. Ваши рассуждения о пыли – это рассуждения. Пыль не попадёт в протокол, Платон Андреевич, если вы её туда не впишете. А если впишете, суд решит, что вы выгораживаете немца. И прокурор спросит, почему следователь, однажды уже ошибившийся, теперь отказывается видеть очевидное.

– Я впишу пыль, – сказал Стрешнев.

– Вписывайте. – Гаранин повернулся к лестнице. – А теперь поднимемся и посмотрим ту комнату наверху, которую ваш кукольник держит под замком.

Лаубе стоял в мастерской, у верстака, опираясь на него обеими руками. Когда из люка показался Гаранин с ведром, кукольник посмотрел на ведро, и Стрешнев, поднявшийся следом, увидел его лицо. В нём не было ни страха, ни вины. Было недоумение – чистое, детское, как у человека, которому показали фокус и он не может понять, как это сделано.

– Это не моё, – сказал Лаубе.

– Разумеется, – сказал Гаранин. – Ключ от верхней комнаты.

Лаубе не двинулся.

– Эмиль Карлович, – сказал Стрешнев. – Я прошу вас. Лучше, если вы откроете сами. Иначе дверь сломают.

Кукольник посмотрел на него. Долго. Потом снял с шеи шнурок, на котором висел ключ, большой, кованый, тёмный, и протянул Стрешневу. Не Гаранину – Стрешневу.

– Только вы, – сказал он тихо. – Пожалуйста. Только вы и ещё кто нужно по закону. Не все.

– Это невозможно, – сказал Гаранин.

– Это возможно, – сказал Стрешнев. – Понятые, Фрол Ильич и я. Остальные подождут внизу. Кирилл Фомич, вы, разумеется, как пожелаете.

Гаранин пожелал. Они поднялись вшестером: Стрешнев, Гаранин, Гусёк, двое понятых и сам Лаубе, которого Гусёк поддерживал под локоть. Тихон остался внизу, белый, как стена.

Ключ повернулся в замке туго, с хрустом. Дверь открылась внутрь, медленно, тяжело.

Комната была большая, светлая – единственная светлая комната в этом тёмном доме. Окна выходили на реку, и занавески на них были белые, кисейные, чистые. Пол – крашеный, натёртый воском. Стены оклеены обоями в мелкий голубой цветочек. У одной стены стояла детская кровать с резными спинками, застеленная кружевным покрывалом. У другой – комод, на комоде – зеркало в овальной раме, щётка для волос, ленты, шкатулка. В углу – маленький столик, накрытый на двоих: две чашки тонкого фарфора, сахарница, вазочка с засохшими цветами. У окна – кресло-качалка, и на нём – раскрытая книга, немецкая, с картинками. Сказки.

И девочки.

Их было двенадцать. Они сидели вдоль стены на длинной скамье, обитой синим бархатом, одна возле другой, по росту. Первая – маленькая, лет семи, в голубом платьице с передником, с белокурыми косичками, с куклой в руках – кукла держала куклу. Вторая – чуть выше, лет восьми. Третья – девяти. И так далее, и так далее, по одной на каждый год, и каждая следующая была чуть выше, чуть взрослее, чуть иначе одета: вот уже не передник, а форменное платье гимназистки; вот уже косы уложены вокруг головы; вот уже длинное платье барышни, с турнюром; вот уже последняя, двенадцатая, совсем взрослая, лет девятнадцати, в светло-сером

шёлковом платье, с гладкой причёской и с медальоном на шее. У всех было одно лицо. Одно и то же лицо – широко расставленные светлые глаза, мягкий подбородок, родинка на левой щеке, чуть приподнятые уголки губ – только у первой оно было детским, круглым, а у последней – тонким, повзрослевшим, почти женским. Одна девочка, выросшая на глазах, от семи до девятнадцати лет, за двенадцать лет, которых у неё не было.

Понятой-писарь перекрестился. Татарин-дворник что-то пробормотал на своём языке. Гусёк снял фуражку.

Гаранин стоял на пороге и молчал.

– Это Минна, – сказал Лаубе.

Он прошёл мимо них, медленно, держась за стену, и встал перед скамьёй. Протянул руку и поправил локон у самой маленькой.

– Моя дочь, – сказал он. – Ей было семь лет, когда она упала в реку. С мостков, у пристани. В апреле. Мы ходили смотреть на ледоход. Я держал её за руку. А потом отпустил, чтобы раскурить трубку. На одну минуту. – Он помолчал. – Её нашли через три дня, ниже по течению. Я её похоронил. Жена умерла через год. От горя, сказал доктор. Я остался.

Никто не говорил. Через открытое окно доносился плеск реки.

– Каждый год, – сказал Лаубе, – в апреле, в тот день, я делаю её снова. На год старше. Какой она была бы. Я смотрю на девочек на улице, её лет, и думаю: она была бы такая. Нет, не такая, вот такая. Я рисую. Потом делаю. Двенадцать лет. Двенадцать раз. – Он повернулся к ним, и за стёклами очков его глаза были сухие. – Я знаю, что это безумие. Доктор говорит, что это безумие. Я знаю. Но если я не буду этого делать, она останется семилетней навсегда. А я этого не хочу. Я хочу, чтобы она росла. Хотя бы здесь.

Стрешнев посмотрел на столик у окна. Две чашки. На одной – тонкий слой засохшего чая. На другой – ничего.

– Вы сидите здесь с ней, – сказал он.

– По воскресеньям, – сказал Лаубе. – Пьём чай. Я читаю ей вслух. Ей нравятся сказки братьев Гримм. Хотя ей уже девятнадцать. – Он вдруг улыбнулся, впервые за всё время, криво и страшно. – Но для меня она всё равно маленькая. Как для всех отцов.

Гаранин шагнул в комнату. Его сапоги громко скрипнули по натёртому полу. Он прошёлся вдоль скамьи, разглядывая кукол, потом остановился у кровати, откинул кружевное покрывало, заглянул под кровать. Открыл комод. Выдвинул ящики. Там лежало детское бельё, ленты, носовые платки с вышитой буквой «М». Он задвинул ящик и обернулся.

– Это всё, Лаубе?

– Это всё, господин полицмейстер.

– Здесь не были дети? Живые дети?

Лаубе посмотрел на него так, будто тот сказал что-то непристойное.

– Здесь никого не было, – сказал он. – Двенадцать лет. Только я и она. И теперь вы.

Гаранин повернулся к Стрешневу.

– Платон Андреевич, – сказал он, – прошу вас занести в протокол обнаруженное. Всё. В подробностях. А затем, на основании найденного в подвале, произвести задержание мещанина Лаубе по подозрению в похищении малолетних Лукерьи Чижовой и Ивана Ершова. – Он сделал паузу. – Если вы откажетесь, я произведу задержание властью полиции и сегодня же напишу прокурору.

Стрешнев смотрел на скамью. На двенадцать одинаковых лиц, повзрослевших в воске. На старика, стоящего перед ними с опущенной головой. Он знал, что ведро подбросили. Он знал это так же твёрдо, как знал, что пыль не лжёт. И он знал, что если откажется сейчас, то через час Лаубе всё равно поведут через площадь, через толпу, которая ждёт внизу, но уже без него, и некому будет записать в протокол пыль и сухой платок, и некому будет потом, в тюрьме, сидеть напротив кукольника и спрашивать.

– Я задерживаю вас, Эмиль Карлович, – сказал он. – По подозрению. И в протокол будет занесено всё. Всё, что я видел.

Лаубе кивнул, будто ждал этого.

– Можно мне взять её? – спросил он. – Самую маленькую. Ненадолго.

– Нельзя, – сказал Гаранин.

– Можно, – сказал Стрешнев.

Кукольник взял с края скамьи семилетнюю девочку в голубом платьице, прижал к груди, как прижимают спящего ребёнка, и пошёл к двери. На пороге он обернулся и посмотрел на оставшихся одиннадцать. Губы его шевельнулись. Он что-то сказал по-немецки, очень тихо. Стрешнев не знал немецкого так, чтобы разобрать, но потом, много позже, Лаубе скажет ему, что это было. «Я скоро вернусь. Не скучайте».

Его вели через площадь. Стрешнев шёл рядом, Гусёк – с другой стороны, впереди и сзади – чужие городовые Гаранина. Толпа расступилась, но не разошлась. Она шла следом, молча, как идут за гробом. Кто-то плюнул. Плевок попал на сюртук кукольника, на плечо. Лаубе не обернулся. Он шёл медленно, тяжело, прижимая к груди куклу в голубом платье, и толпа, увидев эту куклу, загудела: «Гляди, гляди… ребёнка несёт… куклу несёт… душу несёт…». Кто-то из баб завыл. Кто-то бросил камень, и камень ударил в спину рыжеусому городовому, и тот выругался и обернулся, хватаясь за шашку, но Гусёк рявкнул на него, и он отвернулся.

У ворот части стояла Устинья Чижова. Ей уже сказали про ведро. Она стояла у столба, в своём сером платке, и смотрела на Лаубе, и когда его подвели ближе, она шагнула вперёд и встала у него на дороге.

Все остановились.

– Где она? – спросила Устинья. Тихо. Почти шёпотом.

Лаубе посмотрел на неё. Потом медленно покачал головой.

– Я не знаю, – сказал он. – Я её не брал. Я только смотрел, как она носит воду. Простите меня.

– За что? – спросила Устинья. – За что простить, раз не брал?

Кукольник помолчал.

– За то, что смотрел и не уберёг, – сказал он. – Я видел, что на неё кто-то ещё смотрит. Я не понял тогда. Я думал, мне кажется.

Стрешнев замер.

– Кто? – спросил он. – Кто ещё смотрел, Эмиль Карлович?

Но Гаранин уже махнул рукой, и городовые подтолкнули кукольника в спину, к воротам, и Устинья отступила, и Лаубе прошёл мимо неё, не ответив. Ворота части захлопнулись за ними. Над площадью снова пошёл мелкий дождь.

В камере для задержанных, на нижнем этаже, Стрешнев остался с кукольником наедине на пять минут, пока Гусёк оформлял бумаги. Лаубе сидел на нарах, положив куклу рядом с собой, и смотрел в стену.

– Кто ещё смотрел на Лушу? – спросил Стрешнев.

Лаубе долго не отвечал.

– Женщина, – сказал он наконец. – Я видел её несколько раз. В сентябре. Она стояла у колонки, у Хлудова. Не набирала воду, просто стояла. Смотрела на детей. На девочку. Потом подошла, дала ей что-то. Леденец, может быть. Я рисовал девочку и видел. Я подумал – может, тётка. Родня. Мало ли.

– Как она выглядела?

– Серое платье. Серый платок. Низко, по лоб. Лицо – широкое, бледное. Неподвижное. – Он помолчал. – Я художник, господин следователь. Я запоминаю лица. Это лицо я запомнил, потому что оно было как у куклы. Плохой куклы. Фабричной. Ничего не выражало. Совсем ничего. Мне стало страшно на него смотреть, и я не стал рисовать.

Стрешнев вспомнил ночлежку Хлудова, перегородку, широкое бледное лицо под серым платком, наклон головы – бесстрастный, кукольный.

– Почему вы не сказали мне раньше?

– Вы не спрашивали, – сказал Лаубе. – Вы спрашивали про меня.

Глава 8. Острог

Устинью Чижову привели на опознание в тот же вечер. Стрешнев разложил вещи на столе в своей комнате наверху, под лампой: ведро отдельно, платок отдельно, на чистом листе бумаги. Он хотел, чтобы при опознании были понятые, и они были – всё тот же писарь консистории, которому, кажется, нравилось быть при деле, и квартирная хозяйка Ксении Никитичны, глухая старуха Лапина, которую Гусёк привёл неизвестно зачем, сказав только: «Она глухая, ваше благородие, зато видит всё». Сама Ксения Никитична пришла тоже, без приглашения, и встала у двери, скрестив руки, и Стрешнев не стал её выгонять.

Устинья вошла, увидела ведро и остановилась.

Она не бросилась к нему. Она подошла медленно, как подходят к постели больного, и протянула руку, и тронула гнутую ручку. Провела пальцем по вмятине на боку.

– Наше, – сказала она. – Это я уронила с крыльца, весной. Вот вмятина. А ручку Луша погнула, когда на санках возила. Наше.

– Вы уверены?

– Наше, барин.

Он кивнул писарю, и тот записал. Потом Стрешнев взял со стола платок, развернул его и подал ей.

Устинья взяла. Расправила на ладонях. Посмотрела. И Стрешнев увидел, как меняется её лицо: как недоумение сменяет горе, а потом сквозь недоумение проступает что-то вроде испуга.

– Это не её, – сказала она.

В комнате стало тихо.

– Как – не её? – спросил Гусёк.

– Не её. – Устинья мяла платок в пальцах. – Такой же. Синий. Горох белый. А не её. Её я на пасху брала, он уж стираный-перестираный, вылинял, синий стал как голубой. А этот – новый. Глядите, какой синий. И край. У Луши край подрубленный был, я сама подрубала, крупным стежком, потому что он сыпался. А тут машинный. И в углу у неё дырочка была штопаная, она его на гвоздь посадила, я штопала красной ниткой, другой не было. Тут нету. – Она подняла глаза на Стрешнева. – Это не Лушин, барин. Это кто-то такой же купил. Нарочно.

– Нарочно, – повторил Стрешнев.

Он взял платок из её рук и поднёс к лампе. Устинья была права. Ткань была новая, ни разу не стиранная, с той жёсткой, крахмальной свежестью, какая бывает только у фабричного товара с прилавка. Край был подрублен машинной строчкой. Ни штопки, ни следов носки.

– Значит, кто-то знал, какой у неё платок, – сказала Ксения Никитична от двери. – Кто-то знал точно. Цвет, горошину. И пошёл и купил такой же. Чтобы подложить.

– Знал не точно, – сказал Стрешнев. – Не знал, что он вылинял. Не знал про штопку. Знал только цвет и рисунок. Как будто видел не сам платок, а описание. Или…

Он не договорил. Ксения смотрела на него, и он видел, что она поняла.

– Или куклу, – сказала она.

– Или куклу. Или рисунок. В альбоме Лаубе под портретом Луши написано: «Синий, белый горох». Слово в слово.

Устинья переводила взгляд с одного на другого и не понимала. Потом поняла – или не поняла, а просто почувствовала, что говорят о чём-то, что даёт надежду, – и схватила Стрешнева за руку.

– Барин. Значит, не он? Не немец?

– Я не знаю, Устинья. Но это значит, что кто-то хотел, чтобы мы думали на немца. А если бы немец был виноват, никому не нужно было бы этого хотеть.

Она смотрела на него, и губы её дрожали. Потом она отпустила его руку и сказала совсем тихо:

– Ведро-то наше. Ведро-то у них было, барин. Значит, и она у них.

Это было правдой, и это было самое страшное, что прозвучало за весь вечер. Стрешнев не ответил. Он записал в протокол всё: вмятину, ручку, машинный шов, отсутствие штопки, цвет. Понятые подписали. Старуха Лапина, которая не слышала ни слова, подписала крестиком, а потом вдруг сказала громко, на всю комнату, как говорят глухие: «Новый платок-то. Лавочный. Такие у Сазонова в рядах по двугривенному», – и все обернулись к ней, а она пожала плечами и ушла.

Когда все разошлись, Ксения Никитична не ушла. Она стояла у двери, пока Стрешнев запирал вещи в шкаф и опечатывал, а потом сказала, не глядя на него:

– Проводите меня. Уже темно.

Они вышли вместе. Сенная была пуста и черна, только у «Якоря» светилось окно и пьяный голос тянул что-то бесконечное про ямщика. Ксения шла быстро, твёрдо ступая по мосткам, и он едва поспевал за ней.

– Вы ведь знали, что ведро подброшено, – сказала она. – Ещё там, в подвале. Мне Фрол Ильич рассказал. Про пыль. И всё равно арестовали.

– Если бы не я, арестовал бы Гаранин. И в протоколе не было бы пыли.

– Это вы себе так объясняете?

Он помолчал.

– Да. Это я себе так объясняю.

Она замедлила шаг. Посмотрела на него сбоку, в темноте, и он не видел её лица, только бледное пятно и блеск глаз.

– Простите, – сказала она. – Я злая сегодня. Я весь день злая. Я думала про Лушин рисунок. Я перерыла всю коробку и не нашла. Там сто листов, они все перемешались, я их сваливала как попало. Я найду. Я завтра с утра сяду и найду.

– Я не тороплю вас.

– А надо бы торопить, – сказала она. – Надо бы.

Они поднимались по Вознесенскому спуску. Здесь уже было светлее, горел газовый фонарь у церкви, и в его свете он увидел, что она устала, смертельно устала, и что держится она на одном упрямстве.

– Почему вы этим занимаетесь? – спросил он. – Школой. Сенной. Вы могли бы учить в гимназии. Или выйти замуж за какого-нибудь доброго акцизного чиновника и разливать чай.

Она коротко засмеялась.

– Акцизный чиновник у меня был. Предлагался. Тётушка нашла. – Она помолчала. – Мой отец был сельским учителем в Вятской губернии. Двадцать лет учил крестьянских детей. Бесплатно почти. Умер от тифа, заразился от ученика. Я с ним сидела. Он перед смертью говорил: «Ксеня, их никто не видит. Их считают, как скот, по головам. А каждый – отдельный». Вот. – Она пожала плечами. – Я не умею ничего другого. Я умею видеть, что каждый отдельный. Это не так уж много.

– Это очень много, – сказал Стрешнев.

Она остановилась у калитки флигеля Лапиной и обернулась к нему.

– А вы? Почему вы этим занимаетесь? После часовщика. Вы могли бы уйти. Вас, наверное, отпустили бы.

– Отпустили бы, – согласился он. – Я подал прошение. Мне отказали. Сказали: отправляйтесь в провинцию и подумайте. Я думаю.

– И что надумали?

Он смотрел на неё, на её упрямое, усталое лицо, на снег, который начинал падать, первый, редкий, и таял у неё на волосах.

– Что если я уйду, – сказал он медленно, – то Сизов умер зря. А если останусь и буду ошибаться дальше, то он тоже умер зря. Остаётся только один способ, чтобы не зря. Не ошибаться больше. Хотя бы раз.

Ксения долго молчала.

– Вы странный человек, Платон Андреевич, – сказала она наконец. – Доброй ночи.

И ушла, и калитка стукнула за ней, а он ещё постоял под фонарём, пока в окне флигеля не загорелась свеча.

На следующее утро Лаубе перевели в губернский тюремный замок.

Острог стоял на северной окраине Ковыльска, за Острожным рвом, на голом холме, где ветер не утихал никогда. Это было старое, екатерининских времён, здание жёлтого кирпича, четырёхугольное, с круглыми башнями по углам и с церковью посреди двора, и издали оно было похоже на крепость, а вблизи – на огромный каменный сундук. Стрешнев приехал туда на извозчике, через весь город, и всю дорогу думал о том, что ведёт эту же дорогу второй раз в жизни, только в другом городе и с другим человеком.

Его провели по длинному коридору с низкими сводами, где пахло известью, мочой и кислыми щами, в комнату для допросов: голые стены, стол, две лавки, решётка на окне. Через пять минут надзиратель привёл Лаубе.

Кукольник был в арестантском халате поверх своей рубашки. Галстук у него отобрали, очки оставили. Он сел на лавку напротив Стрешнева и положил руки на стол. Руки дрожали – мелко, едва заметно, как дрожат у стариков с больным сердцем.

– Вас не обижают? – спросил Стрешнев.

– Нет. Меня посадили одного. Надзиратель сказал – чтобы другие не убили. Здесь тоже знают про кукольника. – Он слабо улыбнулся. – Куклу отобрали. Минну. Сказали – не положено.

– Я попробую вернуть.

– Не надо. Пусть лежит. Ей там лучше, чем здесь.

Стрешнев рассказал ему про платок. Лаубе слушал, не перебивая, и его лицо оставалось неподвижным, только пальцы на столе сжимались и разжимались.

– Значит, кто-то видел мой альбом, – сказал он, когда Стрешнев кончил.

– Кто мог его видеть?

– Покупатели иногда. Если просят. Учительница видела. Вы. Доктор. – Он помолчал. – Тихон. Тихон видит его каждый день. Он учится по нему. Копирует. Я учу его рисовать. Он рисует плохо, но старательно. Я велю ему копировать мои рисунки, чтобы набил руку.

– Копировать, – повторил Стрешнев. – Куда копирует? На отдельные листы?

– В свою тетрадь. Или на листы, да. Не знаю. Я не проверяю. Он приносит, я смотрю, говорю, что не так. Потом он уносит.

– Куда уносит?

Лаубе поднял на него глаза.

– Я не знаю, – сказал он медленно. – Я никогда не спрашивал.

Они помолчали. За окном, за решёткой, свистел ветер, и где-то во дворе острога били в рельс – звали к обеду.

– Эмиль Карлович, – сказал Стрешнев, – в ночь, когда пропал Ванька Ершов, у вас был доктор Мерцалов. Он говорит, что вы были в бреду, что он дал вам опий и сидел при вас до часу ночи. Вы помните это?

Лаубе нахмурился.

– Помню, что было плохо. Задыхался. Тихон бегал. Потом доктор. Потом… – он поднёс пальцы ко лбу. – Потом ничего. Как провал. Я проснулся днём. Тихон сказал, что приходили вы и сняли куклу.

– Это часто бывает? Провалы?

Кукольник долго молчал.

– Последний год – часто, – сказал он наконец. – После капель. Доктор даёт мне капли, от сердца и для сна. Я сплю после них, как мёртвый. Иногда сутки. Просыпаюсь – и не помню, что было вечером. Тихон говорит, что я разговаривал, ходил даже. А я не помню.

– Ходили? Куда?

– По дому. Наверх. К Минне. – Он слабо пожал плечами. – Тихон говорит. Я не знаю.

Стрешнев записал. «Капли Мерцалова. Провалы памяти. Тихон говорит, что Л. ходил ночью. Проверить». Он писал и чувствовал, как внутри поднимается неприятный холодок. Если кукольник не помнит своих ночей, то кукольник не может за них поручиться. Если не может поручиться, значит, всё, что он говорит о себе, – только то, что ему сказали другие. Доктор. Подмастерье. Это было удобно. Слишком удобно, и неясно для кого.

– Вы доверяете доктору Мерцалову?

– Он лечит меня двенадцать лет, – сказал Лаубе. – С тех пор как… С тех пор. Он лечил мою жену, когда она умирала. Он был добр. Он единственный приходил, когда все отвернулись. Немец, у которого утонула дочь, – говорили, что это я её утопил. Вы знаете? Говорили. Я сам слышал. А доктор приходил. Сидел. Говорил со мной. Он сказал мне тогда: «Делайте её, Эмиль Карлович. Делайте её каждый год. Это вам поможет». Это он придумал. Про кукол на год старше.

Стрешнев поднял голову от записи.

– Это была его мысль?

– Его. Он сказал – это лечение. Чтобы горе нашло выход. Я сначала не хотел. Потом сделал первую. И стало легче. Немного. – Кукольник помолчал. – Он хороший врач. Он знает, как устроена душа.

– Да, – сказал Стрешнев. – Похоже, что знает.

Он помолчал, собираясь с мыслями, а потом спросил о другом:

– Женщина в сером, которую вы видели у колонки. Вы её видели где-нибудь ещё?

Лаубе подумал.

– Нет. Только у колонки. Несколько раз. В сентябре и в начале октября.

– Я видел похожую женщину с доктором Мерцаловым. В ночлежке Хлудова. Она помогала ему на приёме. Сестра милосердия из его приюта.

Кукольник смотрел на него, и Стрешнев видел, как до него доходит. Медленно. Как будто сквозь толщу воды. И видел, как кукольник сопротивляется этому, всем своим существом, всей своей двенадцатилетней благодарностью.

– Нет, – сказал Лаубе. – Нет. Вы ошибаетесь. Мало ли женщин в сером.

– Мало ли, – согласился Стрешнев. – Я сам себе это говорю. Каждый день.

Товарищ прокурора окружного суда Модест Ильич Воскобойников принял его в тот же день, после обеда, в своём кабинете в здании суда. Он был молод, моложе Стрешнева, румян, с пушистыми бакенбардами и с манерой говорить, растягивая слова, которая в Петербурге считалась признаком хорошего тона, а здесь, в Ковыльске, звучала как пародия. Он прочёл протокол обыска, прочёл протокол опознания, отложил оба листа и сложил пальцы домиком.

– Пыль, – сказал он. – Платок не тот. Штопки нет. Ну что ж. Очень тонко, Платон Андреевич. Очень по-петербургски. Но ведро-то мать опознала?

– Опознала.

– Ведро нашли в подвале обвиняемого?

– Подозреваемого. Да.

– Ну вот. – Воскобойников развёл руками. – А платок… Мать в горе. Мать могла забыть, какой у дочери был платок. Может, у девочки было два платка. Может, немец сам купил новый, чтобы сделать куклу похожей, а старый выбросил. Может быть что угодно. Вы же понимаете, как это будет выглядеть на суде? Присяжные увидят ведро. Присяжные увидят комнату с две-

надцатью куклами покойной дочери. Присяжные услышат, что дети пропадали после того, как их куклы появлялись в его окне. А вы будете говорить им про пыль.

– Мальчика Ершова он увести не мог. Он был в беспамятстве. Это подтверждает доктор Мерцалов, который сидел при нём.

– До часу ночи, – сказал Воскобойников. – А мальчик пропал когда? Ночью. Мать проснулась в пять. Четыре часа, Платон Андреевич. Опий проходит. Люди встают. А ещё у немца есть подмастерье. Вы сами пишете: «Тихон говорит, что Лаубе ходил ночью». Ходил. Ночью. Вы понимаете, что вы сами себе пишете?

Стрешнев понимал. Он понимал это с того самого мгновения, как записал эти слова в остроге. Каждая нить, за которую он тянул, чтобы распутать узел вокруг кукольника, только затягивала его туже. Каждое свидетельство в пользу Лаубе тут же, в тех же устах, оборачивалось свидетельством против. Доктор давал алиби – и тут же говорил «сам – нет». Подмастерье защищал хозяина – и тут же рассказывал, что хозяин бродит по ночам. Это было похоже на шахматную задачу, где каждый ход белых уже предусмотрен чёрными.

– Модест Ильич, – сказал он, – я прошу вас об одном. Не торопиться с обвинительным заключением. Дайте мне время. Если Лаубе виновен, я это докажу. Если нет – я найду того, кто подбросил ведро.

Воскобойников смотрел на него с вежливым любопытством, как смотрят на редкое насекомое.

– Вы знаете, – сказал он, – мне писали о вас из Петербурга. Мой однокашник служит в департаменте. Он писал, что вы были лучшим следователем в Казанской части. Лучшим. А потом – часовщик. – Он помолчал. – И что после часовщика вы уже не могли ни одного дела довести до конца. Всё сомневались. Всё проверяли. Всё искали пыль.

Стрешнев молчал.

– Я дам вам время, – сказал Воскобойников. – Две недели. Немец посидит в остроге, это ему не повредит, а город успокоится. Но если через две недели вы не принесёте мне другого виновного, с другим ведром, – я передам дело в суд. А вас, Платон Андреевич, попрошу подумать о прошении об отставке. Не обижайтесь. Я говорю как друг.

Стрешнев вышел из суда в сумерках. Снова шёл снег, как и накануне, мокрый, редкий, тающий, не долетая до земли. Он поднял воротник и пошёл вниз, к Сенной, сам не зная зачем. Ему некуда было торопиться и некуда было идти, кроме этой площади. У лавки Лаубе, на углу Кривого переулка, было темно. Витрину кто-то разбил – правое стекло, где раньше стоял Ванька, – и в дыру задувал снег, ложился на зелёный бархат, на кружевные платья, на восковые лица. Куклы сидели в темноте, засыпаемые снегом, и смотрели на площадь.

Перед витриной стояла Устинья. Без платка, с непокрытой головой, на которой таял снег. Она смотрела на куклу в синем платочке, которая всё так же сидела в левом нижнем углу, и шевелила губами.

Стрешнев подошёл и встал рядом. Она не обернулась.

– Я ей говорю, что ведро нашлось, – сказала Устинья. – Чтобы не волновалась. Что ведро у меня. Что вернётся – будет с чем по воду ходить.

Стрешнев снял пальто и накинул ей на плечи. Она не заметила.

Так они стояли вдвоём перед разбитой витриной, мужчина без пальто и женщина без платка, и снег падал на них и на кукол одинаково, не разбирая, кто живой, а кто восковой. Потом Устинья вздохнула, сняла с плеч пальто, вернула ему, не говоря ни слова, и пошла домой, к пустой лавке у стены, где спала дочь. А Стрешнев остался и стоял, пока не перестал чувствовать рук, и думал о двух неделях, которые ему дали, и о том, что две недели – это четырнадцать ночей.

Глава 9. Дом, где все спят

Ксения Никитична нашла рисунок на третий день, в субботу, и принесла его в часть сама, рано утром, когда Стрешнев ещё не успел снять пальто. Она вошла без стука, раскрасневшаяся от мороза и от быстрой ходьбы, с выбившейся из-под шляпки прядью, и положила на стол перед ним лист серой обёрточной бумаги, сложенный вдвое.

– Вот, – сказала она. – Он был не в коробке. Он был в моём молитвеннике. Я сама его туда положила, тогда, в тот день. Чтобы показать отцу Василию. И забыла. Я его по всей квартире искала, а он лежал в молитвеннике.

Стрешнев развернул лист.

Рисунок был сделан цветными карандашами – Ксения раздавала их детям по одному на стол, и они передавали друг другу, – но цветов было немного: серый, синий, коричневый, и только в одном месте красный. Детская рука, неумелая, старательная, с нажимом. Посередине листа стоял дом. Большой, длинный, в два ряда окон, и нижний ряд окон был нарисован странно – наполовину ушедшим в землю, будто дом стоял по пояс в сугробе. Над домом торчала узкая башенка с острым верхом, но без креста, а на месте креста было нарисовано что-то вроде круглого пятна, закрашенного серым. Окна нижнего ряда были большие, и в каждом окне Луша нарисовала то, о чём говорила Ксения: кровать, на кровати – маленькую фигурку с закрытыми глазами, две чёрточки вместо глаз, и одеяло до подбородка. Шесть окон. Шесть кроватей. Шесть спящих.

Справа от дома стояла фигура в сером, большая, выше дома, с широким кругом вместо лица, без рта. А в руке у неё было что-то красное, маленькое, круглое. Леденец. Красный был единственным ярким пятном на всём листе.

А слева, у самого края, совсем маленький, был нарисован ещё один человечек – коричневый, с бородой. Он сидел на чём-то вроде стула и держал в руках книгу. Или альбом.

Внизу, печатными буквами, вкривь и вкось, было подписано: «ДОМ ГДЕ ВСЕ СПЯТ». И ниже, другим нажимом, будто дописано потом: «МАРФУТКА ТУТ».

Стрешнев смотрел на рисунок долго. Ксения стояла рядом и молчала. В углу комнаты потрескивала печь, которую утром затопил дежурный.

– Башня без креста, – сказал он наконец. – Это церковь. Или колокольня. Но без креста.

– Закрытая церковь, – сказала Ксения. – Я думала об этом всю ночь. В Ковыльске три таких. Старая кладбищенская, Ильинская, на Выгоне, её закрыли, когда построили новую. Потом лютеранская кирха на Немецкой улице, она не закрыта, но у неё нет креста, у неё флюгер-петух. И Сретенское подворье, у реки. Там была домовая церковь, при монашеском подворье, её закрыли после холеры в шестьдесят шестом году, когда монахи все перемёрли. Крест сняли. Подворье купил кто-то из купцов под склады.

– А это что? – Стрешнев показал на серое пятно на верхушке башни.

– Не знаю. Может, она хотела нарисовать купол. Или петуха. Не получилось и замазала.

– Или часы, – сказал Стрешнев.

Ксения посмотрела на него.

– Часы?

– Круглое. На башне. Если не крест и не петух – то часы.

Она нахмурилась, вспоминая.

– На Ильинской церкви часов нет. На кирхе нет. А на Сретенском… – она прикусила губу. – Я не знаю. Я там была один раз, давно. Там склады, туда не ходят.

– А этот? – Он показал на бородатого человечка с книгой.

– Не знаю, – сказала Ксения. – Я думала… Я подумала сначала, что это Лаубе. Борода. Альбом. Сидит, рисует. – Она помолчала. – Это ведь против него, да? Если это он. Если Луша знала, что он связан с этим домом.

– Или это значит, что Луша знала: кто-то сидит в этом доме с альбомом, – сказал Стрешнев. – Кто угодно. С бородой.

– У половины мужчин в Ковыльске бороды.

– Да.

Они помолчали. Потом Ксения взяла стул, придвинула его к столу и села напротив.

– Вы мне не всё говорите, – сказала она. – Я вижу. Вы кого-то подозреваете. Не Лаубе.

– Я никого не подозреваю, Ксения Никитична. Я не имею права подозревать без оснований.

– Это вы Гаранину говорите. И прокурору. А мне скажите правду.

Он посмотрел на неё. Она сидела очень прямо, сжав руки на коленях, и глаза её были сердитые и требовательные, как у учительницы, которая знает, что ученик выучил урок, но отвечать не хочет.

– Почему я должен вам говорить?

– Потому что я принесла вам рисунок. Потому что я ходила к медведю. Потому что я знаю этих детей по именам, а вы только по бумагам. Потому что вы здесь один, Платон Андреевич, а один вы ничего не сделаете. Вас съедят. Гаранин, прокурор, весь город. Вам нужен кто-то, кто будет на вашей стороне. Фрол Ильич – хороший, но он боится за свою пенсию. А мне нечего бояться. У меня ничего нет.

– У вас есть школа.

– Школу у меня всё равно отнимут. Рано или поздно. Попечительский совет давно хочет. Я им неудобная.

Он долго молчал. Потом встал, подошёл к двери, выглянул на лестницу – там никого не было, – закрыл дверь и вернулся к столу.

– Хорошо, – сказал он. – Но то, что я скажу, не должно выйти из этой комнаты. Никому. Ни отцу Василию, ни хозяйке, ни детям. Иначе вы погубите и себя, и, может быть, тех, кого мы ищем.

Ксения кивнула.

Он рассказал ей. Про женщину в сером у колонки, которую видел Лаубе. Про сестру милосердия с бледным неподвижным лицом, которая помогала доктору у Хлудова. Про то, что тётка Груни отдала девочку «приятной барыне в сером». Про то, что сестра Тихона шьёт кофточки для приюта и заказ ей носит сестра Секлетея. Про капли доктора и провалы в памяти кукольника. Про то, что сама мысль делать кукол дочери каждый год принадлежала доктору. Про «сам – нет». Про список Общества, в котором не оказалось Алёшки.

Ксения слушала, и лицо её менялось. Сначала было недоверие. Потом – испуг. Потом – что-то похожее на гнев, но гнев странный, растерянный, направленный, кажется, на саму себя.

– Мерцалов, – сказала она, когда он кончил. – Аристарх Львович. Вы понимаете, что вы говорите? Он лечит всю Сенную. Бесплатно. Он ходит в ночлежки, куда никто не ходит. Он мне дал денег на школу, сорок рублей, когда попечители отказали в дровах. Он… он святой, так все говорят.

– Я ничего не говорю, – сказал Стрешнев. – Я перечисляю то, что видел и слышал. Каждая вещь отдельно ничего не значит. Сестёр в сером – десятки. Докторам принято давать опий больным. Мысль о куклах могла быть просто мыслью врача, желавшего утешить. Всё вместе – тоже ничего не значит. Пока. Но вы спросили, кого я подозреваю. Я никого не подозреваю. Я просто не могу перестать думать.

Ксения встала, отошла к окну. Постояла, глядя на площадь.

– Сорок рублей, – сказала она, не оборачиваясь. – Он мне их дал прямо в руки, в конверте. Сказал: «Для ваших чертенят, Ксения Никитична. Учите их. Каждый ребёнок, который умеет читать, – это ребёнок, который не пропадёт». Так и сказал. «Не пропадёт».

– Это ещё ничего не значит.

– Я знаю. – Она обернулась. – Что мы будем делать?

Это «мы» прозвучало так естественно, будто было решено давно, и он не стал спорить.

– Сначала – дом, – сказал он. – Башня без креста. Если Луша нарисовала его, значит, ей его описали. Или показали. Марфутка «тут» – значит, «тётя» сказала Луше, что Марфутка там. Зачем «тёте» говорить это девочке? Чтобы девочка не боялась. Чтобы сама захотела пойти туда, где её подруга. Это приманка. Дом, где тепло. Где кровати с белыми простынями. Где все спят. Для ребёнка, который спит на соломе в подвале, это рай.

– Рай, – повторила Ксения тихо.

– Мы найдём этот дом. Посмотрим на все три закрытые церкви. А потом поговорим с теми, кто ещё может помнить, что говорили пропавшие дети перед тем, как пропасть. Матери. Друзья. Ваши ученики.

– Акулина, – сказала Ксения. – Мать Марфутки. С ней никто толком не говорил, потому что она всегда пьяная. А она, когда трезвая, – умная. Злая, но умная. Я знаю, где её искать по утрам.

Акулину Косую они нашли на паперти Вознесенской церкви, где она сидела каждое утро до поздней обедни, протянув руку и уставив в землю свой единственный зрячий глаз. Второй глаз, правый, был закрыт бельмом и смотрел куда-то вбок и вверх, отчего её и прозвали Косой. Ей было, может быть, тридцать пять лет, но выглядела она на шестьдесят: высохшая, тёмная, с провалившимся ртом, в лохмотьях, поверх которых была накинута мужская шуба без рукавов. От неё пахло сивухой, но сейчас, утром, она была трезва – насколько вообще бывала трезва.

– Ксения Никитична, – сказала она хрипло, увидев учительницу, и её зрячий глаз скользнул по Стрешневу. – А это кто с тобой? Жених?

– Следователь, Акулина. Насчёт Марфутки.

Нищенка засмеялась, и смех её был страшен – беззубый, лающий.

– Насчёт Марфутки, – повторила она. – Полгода прошло. Насчёт Марфутки. Где ж вы были полгода, ваше благородие?

– В Петербурге, – сказал Стрешнев.

Акулина перестала смеяться и посмотрела на него внимательнее.

– Это верно, – сказала она. – Это вас не было. А вот Фрол Ильич был. И Гаранин был. И доктор наш святой был. Все тут были. А Марфутки нету.

– Акулина, – сказала Ксения, присаживаясь рядом с ней на ступеньку, прямо на мокрый камень, не заботясь о платье, – расскажи. Пожалуйста. Как это было. Что она говорила перед тем.

Нищенка помолчала. Её рука, протянутая за подаянием, медленно опустилась на колени.

– Говорила, – сказала она глухо. – Про тётю говорила. Тётя, мол, добрая, приходит к нам на паперть, леденцы даёт. Красные. Петушков на палочке. Тётя, мол, говорит: «Марфуша, хочешь в тёплый дом? Там кроватки беленькие, там кашу дают с маслом, там спят, сколько хочешь, и никто не будит, и мамка там не нужна». – Акулина криво усмехнулась. – Мамка не нужна. Так и сказала. Марфутка мне это пересказала и смеётся: «Мамка, я к тёте уйду, там тебя не будет». Шутила. А я её по губам. – Она помолчала. – Я её по губам, ваше благородие. За то, что мамку не уважает. А через неделю её и нет.

– Ты видела эту тётю? – спросила Ксения.

– Видела. Раз. Издали. Я пьяная была. Помню только – серая. Как мышь серая. И лицо – как блин. Белое. И ни разу не улыбнулась. Даёт леденец, а сама не улыбается. Я ещё подумала: это кто ж так детям даёт – без улыбки?

– Ты говорила об этом кому-нибудь?

– Говорила, – сказала Акулина. – Фролу Ильичу говорила. Он записал. А потом говорила доктору.

Стрешнев почувствовал, как напряглась рядом с ним Ксения.

– Доктору Мерцалову?

– А кому ж ещё. Он меня лечил, у меня тогда нога гнила. Он мне ногу резал, гной выпускал. Я ему и говорю, пока он резал: «Батюшка, у меня девку увели, серая тётка какая-то». А он мне: «Не плачь, Акулина. Серых тёток много. Может, твою Марфушу в приют взяли, в хороший. Может, ей там лучше. Ты подумай, какая у неё с тобой жизнь». – Нищенка снова засмеялась своим лающим смехом. – Какая с тобой жизнь. Правду сказал. Какая со мной жизнь. А только я её мать. Плохая, а мать. – Она вдруг подняла на Ксению свой зрячий глаз, и в нём стояли слёзы. – Найдите мне её. Ксения Никитична. Найдите. Я пить брошу. Вот те крест.

Они ушли с паперти молча. Только у самого спуска Ксения остановилась и сказала, не глядя на Стрешнева:

– «Может, ей там лучше». Он сказал ей: «Может, ей там лучше».

– Это ещё ничего не значит, – сказал Стрешнев, и сам услышал, как устало и пусто звучат эти слова.

– Перестаньте это говорить, – сказала Ксения. – Пожалуйста. Хотя бы мне.

Он промолчал.

Остаток дня они обходили закрытые церкви. Ильинская, на Выгоне, оказалась маленькой деревянной церквушкой с покосившейся колокольней, заколоченной, окружённой старыми могилами, заросшими бурьяном. Подвала у неё не было, окон в два ряда – тоже. Кирха на Немецкой улице была аккуратная, кирпичная, со шпилем, на котором и правда сидел жестяной петух; пастор, сухонький старичок, говоривший по-русски с таким же акцентом, как Лаубе, показал им подвал – крохотный, с углём и старыми скамьями – и сказал, что Эмиля Карловича знает много лет, что Эмиль Карлович не ходит в кирху с тех пор, как похоронил дочь, и что он не верит, «никогда, ни одной минуты», что Эмиль Карлович может причинить зло ребёнку.

К Сретенскому подворью они пришли в сумерках.

Оно стояло у самой реки, ниже Сенной, за пристанью и холодными складами, в месте, куда не вела ни одна мощёная улица – только разбитая колёсами грунтовая дорога, по которой возили бочки и тюки. Высокая кирпичная стена, кое-где обвалившаяся, обносила квадратный двор. За стеной виднелись крыши – длинные, низкие, складские – и над ними, в середине, тёмная узкая колокольня с острым шатровым верхом. Креста на верхушке не было. А чуть ниже шатра, на четырёх гранях колокольни, темнели круглые пятна – там, где когда-то, наверное, были часы, а теперь остались только пустые круги в кладке, заложенные кирпичом.

Ксения остановилась и схватила Стрешнева за рукав.

– Часы, – прошептала она. – Вы были правы. Часы.

Ворота подворья были заперты на цепь с замком. На воротах висела жестяная доска: «Склады купца Ферапонтова. Посторонним вход воспрещён». Сквозь щель между створками был виден двор: штабели бочек, телега без колёс, кучи угля и, в глубине, длинное двухэтажное здание бывших монашеских келий, с нижним рядом окон, ушедших в землю почти по самые подоконники. Окна были заколочены досками. Все, кроме одного.

В одном окне, крайнем слева, в полуподвале, теплился слабый, жёлтый, едва заметный свет.

Они стояли у ворот и смотрели на этот свет, и не говорили ни слова. Потом из-за угла здания вышел человек с фонарём – старик в тулупе, сгорбленный, – прошёл по двору, остановился, поднял фонарь и посмотрел в сторону ворот. Стрешнев отступил в тень и потянул Ксению за собой. Старик постоял, прислушиваясь, потом опустил фонарь и ушёл обратно за угол.

Когда они снова выглянули, свет в полуподвальном окне погас.

– Надо идти туда, – сказала Ксения. – Сейчас. Перелезть через стену. Там провал, вон, левее.

– Нет.

– Почему? Там свет! Там кто-то есть!

– Там сторож, – сказал Стрешнев. – И, может быть, ещё кто-то. Если мы сейчас полезем через стену, нас примут за воров. Или не примут, а просто поймут, что мы были. И тогда к утру там не будет ничего, кроме бочек и угля. Если они там есть, Ксения Никитична, они уйдут. Их уведут. И мы никогда их не найдём.

Она смотрела на него с отчаянием. Он видел, что она хочет спорить, и видел, что понимает: он прав.

– Тогда что?

– Тогда я узнаю, кто такой купец Ферапонтов, кому он сдаёт эти склады, кто здесь сторожем и с каких пор. И вернусь с бумагой. И с людьми.

– А если поздно будет?

Он не ответил.

В часть они пришли затемно. Гусёк сидел внизу, у дежурного, и пил чай из блюдца, громко прихлёбывая. Увидев Стрешнева с учительницей, он поставил блюдце и поднялся.

– Фрол Ильич, – сказал Стрешнев, – что вы знаете о Сретенском подворье?

Надзиратель моргнул.

– О подворье? А чего о нём знать, ваше благородие. Склады. Ферапонтов там держит соль, рогожи, бочки. Сторож у него Ермил, глухой как пень, старик. Туда никто не ходит. Место гиблое. После холеры там, говорят, монахов прямо в подвалах и закапывали, не успевали на кладбище возить. Бабы детей пугают: «Будешь баловать – в Сретенское отдам».

– Ферапонтов – кто он?

– Купец первой гильдии. Хлебом торгует, солью. Член городской думы. В Обществе попечения состоит, в правлении. Жертвует много. – Гусёк помолчал. – Вы чего там нашли, ваше благородие?

– Свет, – сказал Стрешнев. – В подвальном окне. В здании, где все окна заколочены.

Надзиратель долго смотрел на него. Потом медленно опустился обратно на лавку.

– Свет, – повторил он. – Мало ли. Ермил греется. Или бродяги залезли.

– Может быть. Мне нужно туда попасть. Законно. Утром.

– Утром, – сказал Гусёк, – вам нужна будет бумага на склад купца первой гильдии, гласного думы и члена правления Общества. Её подпишет товарищ прокурора. А товарищ прокурора, прежде чем подписать, спросит полицмейстера. А полицмейстер… – он не договорил и снова взял блюдце. – К обеду Ферапонтов будет знать, что вы придёте. К вечеру там будут одни бочки.

Ксения стояла у двери и молчала. Стрешнев смотрел на надзирателя и понимал, что тот прав. Абсолютно, безнадёжно прав.

– Тогда я пойду без бумаги, – сказал он.

– Без бумаги – это самоуправство, ваше благородие. Вас за это со службы. И всё, что найдёте, суд не примет.

– Тогда пусть будет с бумагой, – сказал Стрешнев. – Но не от прокурора. Фрол Ильич, у вас есть право осмотра нежилых помещений на предмет пожарной безопасности?

Гусёк поставил блюдце. В его маленьких глазках что-то медленно зажглось.

– Есть, – сказал он. – Пожарный осмотр. Раз в год. Подворье у меня в этом году… – он почесал затылок, – не осмотрено. Запамятовал.

– Тогда завтра на рассвете, Фрол Ильич, вы проведёте пожарный осмотр. А я пойду с вами. Как частное лицо. Любопытствующее.

Надзиратель хмыкнул. Потом засмеялся – тихо, утробно, тряся животом.

– Ох, ваше благородие, – сказал он. – Ох, доведёте вы меня до беды. Ладно. На рассвете.

Глава 10. Пожарный осмотр

Они вышли из части в шестом часу утра, в темноте, втроём: Гусёк в полной форме, с бляхой и с книгой пожарных осмотров под мышкой, городовой Рябов, тот самый, непьющий по причине язвы, с фонарём, и Стрешнев в старой шинели надзирателя, которую тот снова ему одолжил, и в картузе, надвинутом на глаза. Гусёк оглядел его, крякнул и сказал, что в таком виде его благородие похож на околоточного писаря, проигравшегося в карты, и что это как раз то, что нужно.

Ночью подморозило. Грязь на Сенной схватилась ледяной коркой, лужи затянуло стеклом, и шаги звучали гулко, как в пустой церкви. Площадь спала. Только у Хлудовской крепости, у дверей, уже стояли первые ночлежники, которых выгнали раньше времени, и курили, кашляя, в кулак. Лавка Лаубе на углу была темна, витрина с выбитым стеклом заколочена досками крест-накрест – это Тихон сделал позавчера, – и куклы за досками были не видны.

Они спустились к реке по Кривому переулку, мимо пристани, где у причала покачивались пустые баржи, мимо холодных складов, длинных, бревенчатых, с висячими замками на воротах. Река дышала холодом. Над водой стоял пар, и из пара выступали чёрные сваи, будто ноги огромного зверя, вошедшего в воду по колено. Потом склады кончились, и дорога пошла вдоль кирпичной стены подворья.

Ворота были заперты, как и вчера. Гусёк постучал в них кулаком, потом ногой, потом снова кулаком. Долго никто не отзывался. Потом за воротами послышалось шарканье, звякнула цепь, и в щели между створками показался фонарь, а за фонарём – морщинистое, заросшее седой щетиной лицо с мутными слезящимися глазами.

– Чего? – сказал старик. Голос был громкий, неровный, как у всех глухих. – Чего надо?

– Пожарный осмотр! – рявкнул Гусёк ему прямо в ухо. – Полиция! Открывай, Ермил!

– Чего?

– Пожарный! Осмотр!

Старик долго смотрел на бляху, на мундир, на книгу под мышкой надзирателя. Потом пожевал губами.

– Хозяин не велел, – сказал он.

– Хозяин не велел полиции? – Гусёк побагровел. – Ты что, старый, в острог захотел? Открывай, тебе говорят!

Ермил ещё постоял, пожевал. Потом, ворча, загремел цепью.

Двор подворья в утренних сумерках казался больше, чем вчера сквозь щель. Он был квадратный, мощёный булыжником, сквозь который пробивалась мёрзлая трава. Справа и слева тянулись склады – бывшие монастырские амбары, длинные, низкие, с широкими дверями. Прямо, в глубине, стояло двухэтажное здание келий. Колокольня поднималась из его середины, тёмная, с пустыми кругами от часов. Слева от келий, за углом, была ещё какая-то пристройка – видимо, бывшая трапезная или поварня, приземистая, с толстыми стенами и маленькими окошками.

– С чего начнём, Фрол Ильич? – спросил Стрешнев негромко.

– А с порядку, ваше благородие. – Надзиратель раскрыл книгу. – Пожарный осмотр начинается с печей и дымоходов. Где печи – там и начнём.

Они начали со складов. Гусёк ходил важно, медленно, заглядывал в каждый угол, стучал по стенам, нюхал воздух, записывал что-то в книгу. Склады были полны: бочки с солью, кули с рогожами, мешки с чем-то сыпучим, бухты верёвок. Пахло сыростью, солью и мышами. Ни следа людей. Ни следа детей. Ермил ходил за ними с фонарём и что-то бормотал.

Потом пошли в здание келий.

Дверь была не заперта. Внутри был длинный коридор с низким сводчатым потолком, по обеим сторонам – двери, бывшие кельи. Почти все пустые. В одних – хлам, ломаные стулья, рамы, какие-то сундуки. В других – ничего, только голые стены с остатками побелки и чёрными пятнами сырости. На втором этаже – то же. Здание было мёртвое, брошенное, давно никем не жилое.

– Подвал, – сказал Стрешнев. – Окно, где был свет, – в подвале. Крайнее слева.

Гусёк кивнул и повернулся к сторожу.

– Подвал! – крикнул он. – Где вход в подвал?

Ермил смотрел на него, не понимая или делая вид, что не понимает. Гусёк повторил, показывая пальцем вниз. Старик наконец кивнул и повёл их в конец коридора, к лестнице, уходившей вниз, в темноту.

Подвал был большой – больше, чем всё здание наверху, как показалось Стрешневу, – и состоял из нескольких помещений, соединённых низкими арками. Своды здесь были кирпичные, старые, почерневшие от времени и сырости. Пол – каменный, плиточный. Воздух – холодный, неподвижный, затхлый. Рябов поднял фонарь, и свет выхватил из темноты то, что лежало вдоль стен: снова бочки, снова мешки, снова хлам.

Крайнее левое помещение было небольшим, сводчатым, с одним окном под потолком, тем самым окном, которое выходило на двор вровень с землёй. Окно было не заколочено, а только затянуто изнутри рогожей. В помещении стояла железная печурка с трубой, выведенной в окно, лежанка из досок, покрытая тулупом, стол, на столе – чугунок, кружка, полкаравая хлеба и огарок свечи.

– Это его, – сказал Гусёк, оборачиваясь к сторожу. – Ты здесь живёшь, Ермил?

Старик понял вопрос по жесту и закивал.

– Тут. Тут живу. Тепло тут. Наверху холодно.

Стрешнев стоял посреди каморки и оглядывался. Ничего. Лежанка, печь, хлеб. Огарок. Вчерашний свет. Старик греется, как и сказал Гусёк. Всё просто.

Он подошёл к столу. Посмотрел на огарок. Сальная свеча, дешёвая, оплывшая, с чёрным фитилём. Он поднял глаза на стену над столом. На стене, на гвозде, висел образок – тёмный, без оклада. Под образком, на кирпиче, тянулись потёки воска. Не сала – воска. Светлые, полупрозрачные, медового цвета, застывшие длинными каплями. Он тронул один пальцем. Воск был свежий, мягкий, податливый, совсем не такой, как старый, который крошится. Кто-то недавно, может быть вчера, ставил здесь восковую свечу. Не сальную, которую может позволить себе сторож, а восковую, церковную, по пятаку за штуку.

– Фрол Ильич, – сказал он тихо. – Посмотрите.

Гусёк посмотрел и нахмурился.

– Воск, – сказал он. – Ну и что? Может, он лампадку теплит. Свечку перед образом.

– Сальную на столе, восковую перед образом? Сторож, у которого на столе полкаравая чёрного хлеба?

Гусёк промолчал.

Стрешнев опустился на корточки и стал осматривать пол. Каменные плиты, щели между ними забиты грязью. Под лежанкой – пыль, мышиный помёт, старые обмотки. Он отодвинул лежанку. Ермил за его спиной что-то забормотал, громче, тревожнее. Под лежанкой, у самой стены, в щели между плитами, было что-то маленькое, яркое. Он поддел его ногтем.

Это была лента. Узкая, атласная, синяя, длиной в ладонь. Один конец обтрёпан, другой – аккуратно обрезан ножницами. Такие ленты вплетают в косы девочкам.

Он поднялся, держа ленту на ладони, и повернулся к сторожу.

– Чьё это?

Ермил смотрел на ленту. Его мутные глаза моргнули раз, другой. Лицо его, морщинистое, заросшее, вдруг стало совершенно пустым, как у человека, который заранее решил ничего не понимать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.